

ВАЛЕРИЙ РЯБЫХ

Уйдя из очереди

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Валерий Рябых

**Уйдя из очереди.
Повести и рассказы**

«Издательские решения»

Рябых В.

Уйдя из очереди. Повести и рассказы / В. Рябых —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900197-9

О повести «Облов»:...он подобно тати пробирается в ночи, панически
страшась быть пойманным, отловленным как дикий зверь. Да, ему белому
офицеру, волей случая ставшему главарем бандитской шайки, более двух лет
терроризировавшей половину губернии, не будет пощады, и он наверняка знал
это... (все так и совсем не так...)

ISBN 978-5-44-900197-9

© Рябых В.
© Издательские решения

Содержание

Облов	6
Часть I	7
Главка 1	7
Главка 2	9
Главка 3	18
Главка 4	24
Главка 5	30
Главка 6	35
Часть II	41
Главка 1	41
Главка 2	45
Главка 3	50
Главка 4	55
Главка 5	61
Главка 6	65
Уйдя из очереди	70
Легенда	71
Свидетель – I	74
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Уйдя из очереди Повести и рассказы

Валерий Рябых

© Валерий Рябых, 2017

ISBN 978-5-4490-0197-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Облов (повесть)



Часть I

Главка 1

Унылое, дымчато-серое небо низко провисло над источенным непогодой полем, над редкой рощицей, зябко накинувшей дырявый плат из пожухлой листвы, над речушкой, молча омывающей свои осклизлые берега. Вдали, у самого горизонта – синим, размытым туманом ускользает кромка леса, чуть влево, за волнистой грядой холмов – нет-нет, да блеснет маковка еле различимой церковки – там большое село. Внезапный колючий вихрь донес тревожный благовест.... Туда, навстречу колокольному звону увивается разбитая дорога – две колеи в колдобинах, заполненных мерзлой, давно стоялой и оттого прозрачной водицей. Порыв ветра не берет ее гладь – так она холодна и тяжела.

Одинокий всадник, осторожно, выбирая проветрившую тропу, бредет, изредка, резким подергиванием уздечки, понукая коня. Должно, он совсем оковенел. Большая усатая голова в солдатской папахе силится, как можно глубже уйти в воротник истертого полушубка. Порой конник пытается одернуть его куцые полы, прикрыть ноги в серо-зеленых бриджах, ему это удастся совсем ненадолго. Он вжимает ляжки в бока лошади, рассчитывая поживиться у той крохами тепла, но тщетно. Лицо кавалериста, отороченное молодой, курчавой бородкой, с наползающими дугами усов, приобрело землистый оттенок. Лишь нос, испещренный густой сетью склеротических жилок, пунцовый, словно фонарь, указывает, что его владелец еще не совсем оковурился от холода. Глаза человека, глубоко упрятанные вовнутрь, испитой зеленью пробиваются из марева воспаленных белков. Но в них ни мысли, ни крохи чувств – одна стужа. Видевшая виды папаха налезла на брови, до половины прикрыв крупные, благородные уши; из-под нее выскальзывают искрящиеся металлом волокна, толи волосы, толи иней тронул серебром истертое на сгибе руно.

Вдруг, наездник встрепенулся, встал в стременах, взгляделся вперед и, наконец, что-то различив, огрел коня плетью. Возмущенный жеребец, на миг присев, остервенело всхрапнув, ринулся в открывшуюся с бугра лошину, широко разметая в стороны комья земли из под копыт. Всадник и конь, сжатые в один упругий комок, словно камень, выпущенный из пращи, понеслись под уклон.

Внизу, за поворотом, укрытая купами разросшихся, блеклых осин, скученно спряталась деревенька. Вот и глубоко вросший в дерн верстовой столб, с косо прибитой дощатой табличкой: «Гостеевка», – крупно значится на ней. Внимательно приглядевшись к коряво дорисованным буквицам, можно пониже разобрать: дворов – 43, муж. полу – 97, жен. полу – 112. Остается правда гадать – когда сия статистика изволила быть. До ржавчины выцветший шрифт режет глаза «ерами», отмененными новой властью. Конник с досадой хлопнул себя по колену, зло сплюнул (что-то, видать, не по нутру), однако, все же тронул поводья и повернул в проселок.

Навстречу, карабкаясь из недр балки, вылезла упряжка. Скверно дребезжит порожняя, обглоданная телега. Пегая лошадка, суча тонюсенькими ножками, упорно втягивает возок на бугор. Свесив, опутанные онучами, ноги, склонив, чуть ли не по пояс, голову в облезлом треухе, правит савраской неухоженный мужичонка, нелепо вздрагивая от тряски всей телом. Он вроде и не замечает верхового, заступившего ему путь. Смирная коняка, не зная как ей быть, стала забираться в сторону. Подвода выбился из колеи, переднее колесо вильнуло, заехав в промоину. Резкий толчок вывел возницу из забытья.

– Тп-пру проклятая, ишь куда занесло?! Стой сволочь! – мужичок по-прежнему, не замечая высившегося над ним седока, стал понукать лошадку.

Та, сердешная обессилев, встала. Телега опасно накренилась и окончательно застряла в колдобине. Возчик, продолжая остервенело ругаться, спрыгнул с облучка, схватился за оглоблю, стараясь подсобить лошаденке.

– Здорово живешь дядя! – кавалерист приветствовал мужичка густым баритоном в меру выпившего и ладно закусившего человека. – Ты что, милой, заснул, поди... , дороги не разбираешь?

Наконец, возница сподобился посмотреть на встречного, взглянул недобро, без боязни, сухими глазами.

– Здорово были, коль не шутишь?! – Мужик по-деловому смерил конника долгим взором и с нравоучением в голосе выговорил. – Ты бы, товарищ, посторонился что ли, видишь чай, какая оказия со мной приключилась? – Ядрено сморкнувшись наземь, добавил. – Видать, это ты животину мою спугнул? Да я ведь тебе говорю! Чего встал, как вкопанный?

– Однако ты, дядя, неприветлив с незнакомым человеком? А вдруг, я начальство, какое, разве можно так грубо? – в тоне всадника сквозили неприкрытое ехидство и издевка.

Деревенский человек сразу смекает, когда его принимают за быдло. Крестьянин обидчиво встрепенулся:

– Езжал бы ты, гражданин хороший, своей стороной, не с руки мне тут рассусоливать с тобой. Вишь ты, – выговорил он в сторону, но довольно громко, – не угодил я, понимаешь, их благородию. – И вдруг, поднял заносчиво голову. – Да кто ты такой, чтобы я тебе угождал?! А ну, – мужичок по-серьезному разозлился, – освобождай дорогу, почто встал?!

Я погляжу дядя, ты, похоже, агрессивный субъект?! – Верховой надменно осклабился. – Видать, давно по шапке не получал? Попотчевать тебя плеткой, чтоб не забывался? – и всадник засмеялся, захохотал презрительно, нагло, по-барски.

– Ты, контра, меня не тронь! Я те дам плетью?! Я гад... , – мужик значимо крякнул, – знал бы ты на кого гонишь, я чай за советскую власть кровь проливал? А ты меня плетьюми помываешь, в волиском захотел? – и нагнулся к телеге, взялся шарить в ней.

– Ах ты, образина! – ядовито выругался всадник, метнул коня вбок, выхватил нагайку и стал осыпать крестьянина круто поставленными ударами.

Мужичок ужом извивался возле упряжки, потом не удержался, оскользнулся и рухнул в грязь.

– Затопчу падлу! – громыхал, вошедший в раж экзекутор. – Запомнишь, сука Облова, попробуй, скажи еще, как за Совдепию жопу рвал. Я тебя, сволочь научу, как Родину любить. – Прекратив осыпать бедняка ударами, скомандовал. – А ну встать! – и отвел коня чуть назад.

Мужик кривобоко поднялся с земли, побелевшие губы плаксиво кривились, по щекам катились крупные слезы. Он попытался утереть их рукавом армяка, но лишь вымазал лицо грязью. Его всего трясло, как в лихоманке, и видать, ноги его еле держали... , но вот, он сладил с собой.

– Ваше сиятельство, ваше благородие простите меня дурака! Я ведь не знал, что вы и есть тот самый – господин Облов. Простите Христа ради, не бейте, у меня детки малые, пощадите!

– Ишь ты, детишек он вспомнил, на жалость давит? – Облов по-удавьи вперился в крестьянина. – Больно стало?! А мне – не больно, когда каждый хам на меня будет голос повышать? – и вдруг, с нарастающей угрозой вымолвил. – Да ты еще воевал против нас? Царя, веру, выходит, продал?! Иуда?! – Облов запустил кисть за полу тулупчика, пальцам было тесно, он рванул застежку и выхватил из подмышки блестящий вороненой сталью браунинг. – Карать! Карать! Нещадно карать! Сволочь краснопузая?! – его глаза налились кровью, изо рта брызгала слюна.

Мужичонка в ужасе рухнул на колени, простер руку, ладонью вверх:

– Барин пощади, помилуй, век Бога за тебя молить буду! – бедняк запричитал в голос.

Облов, по началу направив ствол в человека, отвел его в сторону, должно все же тронутый мольбами хлебопашца. Но не пропадать же пуле? Не долго раздумывая, не целясь, он хлестко разрядил револьвер в мирно стоявшую поодаль лошадку. Та навзрыд всхлебнула воздух, но легкие отказались служить ей, она как-то вякнула не по-лошады, и рухнула набок, всего лишь разок, дернув голенастой конечностью.

– Гм..., – хмыкнул Облов, – неужто с одного раза уложил? Да уж, попала бедолага под раздачу...

– А-а-а! – резанул сырой воздух душераздирающий крик крестьянина.

У Облова передернулось все внутри, возникшая шальная бравада мгновенно улетучилась. Картина, теперь представшая перед ним, была удручающей.

Бедняк, вознеся руки долу, дико вопил. Его помутневшие от горя глаза, невидя вопрошали, казалось, к самому Богу. Отвисшая, конвульсивно дергающаяся челюсть, с всколоченной бороденкой, своим оскалом напоминала жуткие черепа на развороченных взрывами могилах – Облову стало не по себе. Он машинально подстегнул жеребца ближе к мужику. Когда взгляд обезумевшего возницы уловил фигуру всадника, разум стал постепенно возвращаться к нему. Мужик судорожно опустил руки, сомкнул губы, но свалившаяся беда, потеря животины-кормилицы, невыносимо жгла его сознание. Он бессильно замотал головой из стороны в сторону. Спустя минуту, преодолев отчаяние, хрипло выдавил пересохшим ртом:

– Эх, барин, барин?! Зачем ты лошадь-то? Уж лучше меня бы порешил! Как я теперь домой-то вернусь? Что я делать-то стану, скажи мне на милость?! – И, свесив белесый чуб, беззвучно заплакал.

Смущенному Облову, пришлось усилие воли превозмочь себя. Он тронул плечо мужика рукоятью плети:

– Ну ладно, земляк, не убивайся уж слишком. Погорячился я... Да ты сам, братец, виноват. Чего уж там? Будет тебе новая лошадь..., с коровой и овцами в придачу. Не вой только, накось вот, возьми...

И он поспешно вытащил из френча увесистый бумажник. Мужичок распахнул глаза, разом зажегшиеся надеждой, они цепко следили за действиями всадника.

– Получи! – Облов подал бедняку портмоне.

Тот робко протянул выпачканную черноземом руку, но наивно не решился ухватить тисненую золотым узором кожу.

Бери! – Облов оттолкнул от себя тугой кошель. Тот мигом врос в сомкнутые пальцы крестьянина.

Мужичок ошарашено смотрел на Облова, не веря своему счастью, происшедшее его словно парализовало.

Облов сжал стремяна, рывком натянул удила, и, не оглядываясь на изумленного возчика, повернул и галопом поскакал обратно.

Крестьянин машинально, в каком-то забытии, расстегнул портмоне. Разложенные по кармашкам ассигнации заворожили его. Мужик, еще не войдя в разум, вскочил, отчаянно замахал руками, закричал истошно:

– Барин! Господин Облов! Денег много, слишком много?! Куда мне столько?!

Но всадник уже скрылся за бугром.

Главка 2

Густая мгла, наползая со всех сторон, в какие-нибудь полчаса охватила все небо, и лишь далеко на западе, противостоя силам тьмы, светилась тонкая полоска горизонта. Разводя твердь земную и небесную, она, словно маяк, призывно влекла к себе. Оставаясь недостижимой гранью степного простора, она рождала странно гнетущее чувство обреченности и одиночества.

И даже там, на грани земли и неба, когда зачернел смутный абрис, очертивший едва различимый облик коня и всадника, мир остался пустынен. Что может изменить в бездне пространства одинокий странник?! Пройдет мимо и канет в небытие, исчезнет не оставив следа, возникнет из ничего и ускользнет ни во что, будто шепот ковыля от порыва ветра.

Наездник втягивался в ночь, все более и более удаляясь от живительной полоски света. Вырастая из нее, он, наконец, перерос сужающуюся ленту заката. Вот она своей верхней кромкой едва достает до холки коня, вот она уже стелется меж его голеней, вот она уже вбивается копытами в прах... Тонкая, сужающаяся полоска света на горизонте, еще миг и она исчезнет, поглотится тьмой.

Облов, понурился головой, погруженный в свои думы, машинально правил конем, и не заметил, как очутился во мраке ночи. И только когда промозглая мгла, завесив обзор, окружила его непроницаемой стеной, он взволнованно завертелся в седле, стараясь отыскать хоть малейшую кроху света, хоть мизерную искорку огня – но тщетно. На небе ни звездочки, на земле ни проблеска... Коннику стало тревожно. Саднящая, унылая боль стиснула душу, породила уж вовсе невеселые мысли. Нет, он не страшился ночного одиночества, за последнее время он сжился с ним. По сути, оно стало единственным видом его существования – естественной средой обитания (как мог бы изречь учитель гимназии, в меру ученый, в меру банальный). Облова не пугала темнота, наоборот, она была ему с руки. Он опасался внезапной встречи, случайного столкновения с людьми, которыми будет опознан, с людьми, задача которых – схватить его.

Именно сейчас, как никогда отчетливо осознавалось, что он – Михаил Петрович Облов поставлен вне законов людского сообщества. Что он подобно тати пробирается в ночи, панически страшась быть пойманным, отловленным как дикий зверь. А страх, животный страх, засевший в его теле – это боязнь грядущего возмездия. Да, ему белому офицеру, волей случая ставшему главарем бандитской шайки, более двух лет терроризировавшей половину губернии, не будет пощады, и он наверняка знал это. Человек, вычеркнутый из привычного мира людей, он был зол на все человечество. Горькое чувство изгоя породило садистскую жестокость, его натура стала натурой мнительного карателя. Единственными началами, которыми он теперь призван руководствоваться – являлись ненависть и злоба.

И то, что сегодня по утрам он не пристрелил своенравного землепашца, было чудно ему. Сам этот факт выпадал из привычной, давно отработанной схемы поведения, цепи смертей, всюду сопутствующей гонимому атаману. Уж не признак ли это конца?! В волчьем положении Облова – сентиментальность уже поражение, крышка...

Вдруг конь под ним встрепенулся, напряг удила, нервно ускорил ход. Облов насторожился, по-звериному напрягся, стараясь обострить собственное чутье. И вот ноздри его уловили запах жилья. Слабый, чуть горячий дымок повеял со стороны. Навострив зрение, всадник различил, как сквозь густую тень поодаль, стали прорастать контуры хуторских построек, перемежаемые плотными кронами деревьев.

Облов облегченно перевел дух. Перед ним раскинулся хутор его бывшего вахмистра Дениса Седых – цель пути. Верховой прищпорил жеребца. Тот, почуяв ночлег, не заставил себя понукать. Вскоре их встретил злобный лай цепных псов. Поравнявшись с мрачно высившейся ригой, всадник спешил, справил малую нужду, и, взяв коня под уздцы, зашагал вдоль повалившегося плетня. Приземистый дом фельдфебеля довольно долго стоял, погруженный во тьму. Но вот, в одном из окошек сверкнул огонек, потом он разросся, заполняя весь оконный проем, должно, засветили лампу. Оранжевый шар суетно стал перемещаться по дому. Донесся скрежет отворяемой двери, пахнуло кислыми щами. Наконец, на вросшем в землю крыльце выросла крепко сбитая мужская фигура. Хозяин в накинутом на исподнее полушубке, вздымая кверху трескучий керосиновый фонарь, хриплым голосом спросил:

– Кого тут черти носят? А ну – отзовись?! Не то сейчас кобелей спущу! Со мной не шути? Кто тут?!

– Тише Денис Парамонович, не ори, – в меру глухо окликнул его Облов. – Это я, Михаил Петрович.

Господин подполковник?! – удивленно переспросил хуторянин. – Эка Вас по ночам-то носит? – и, не скумекав, что сказать дальше, гневно обрушился на собак, стараясь унять не шутку разошедшихся сторожей.

Облов подошел к крыльцу, поравнявшись с мужиком, протянул тому руку.

– Ну, здорово Парамонович, сколько лет, сколько зим?! Принимай нежданного гостя, – и, исключая всякие возражения, добавил, – Куда коня-то поставить?

Седых засуетился, залепетал приличествующие в таком разе слова, подхватил у гостя удила, пригласил в дом. Облов неспешно прошел в сенцы, вытер сапоги о брошенные у входа дерюги, обождал хозяина. Они рядком вошли в низенькую горенку.

– Разоблачайтесь Михаил Петрович, будьте как дома, – угодливо залебезил Денис. – Сей-час что-нибудь сгондобим перекусить... Дарья! – шикнул приказным тоном, – вставай баба, у нас гость дорогой!

– Кого там нелегкая принесла? – из внутренних комнат раздался грудной, заспанный женский голос, послышался скрип кровати, и кто-то тяжело спустился на пол.

– Вставай дура быстрее, не тянись коровища! – негодовал муж.

Облов повернулся к сослуживцу, улыбаясь, разглядывал своего фронтового товарища. Денис был высокий, чуть сутуловатый мужик, типично крестьянской внешности, однако бритый, без усов. Его нос, щеки, крутой лоб были изрядно потрепаны годами (явно за сорок), но тело еще мускулисто и пружинисто гибко. Седых, прыгая на одной ноге, уже натягивал затрапезные порты и... говорил, говорил, говорил...

По тому, как он нес всякую чепуху, Облов смекнул, что внезапный визит бывшего батальонного командира, поверг вахмистра в самый настоящий шок. Определенно, Седых наслышан о «подвигах» Михаил Петровича, оттого уже загоревал, предвкушая неизбежные, в таком разе, беды от новой власти. Да и кому она нужна, при такой жизни, эта головная боль. Облову стало любопытно наблюдать, как Денис пытается скрыть свой испуг за нагромождением слов, за широкими жестами, за уж больно приткой суетой.

Но вот объявилась хозяйка – женщина лет тридцати пяти, исполненная негой со сна и пышущая жаром. Ее обнаженные по локоть руки пухлы и белы, должно столь же сдобны были и груди, что нескромно выпирали в вырез кофточки. Ее лицо, чуть припухшее в скулах, насмешливо шурилось, подбородок задорно подрагивал – вся она была какой-то светлой, земной. У Облова от такой «милашки» потеплело внизу живота...

Улыбаясь, кося на гостя глазом, она отстранила бестолково снующего мужа и деловито принялась накрывать не стол. Сконфуженный Денис, недоуменно пожав плечами, кивнул командиру, приглашая того в комнаты. Облов поднялся, пошел, следом и вдруг по наитию оглянулся на хозяйку. Казалось, она не обращала внимания на гостя, ее движения были свободны, раскованы, лишены присущей крестьянкам скромности в отношении к посторонним. Дарья, низко наклонившись, доставала из потемневшего ларя кухонную утварь. Ситцевая, полупрозрачная юбка, натянувшись, туго охватила ее упругий, немного тяжеловатый зад, обрисовала складками ее широкие, ладные бедра. Разогнув спину, женщина лениво одернула топорщившуюся ткань, разгладив ее на ляжках и ягодницах, при этом лукаво взглянула на замешкавшегося Михаила Петровича. Ее глаза как бы спрашивали: «Ну, хороша ли я, офицерик?!» Сердце Облова забилося резкими толчками, плотские желания пронеслись в мыслях, он сглотнул комочек пресной слюны, потупил взор и шагнул в залу.

Хозяин, тем временем, приспособив покрытый плюшевой скатертью стол, раздирал вчетверо сложенный лист газеты на аккуратные полоски. Протянул гостю расшитый узором чьем-то кисет, предлагая закурить. Облов машинально скрутил козью ножку, рассеянно набрал самосаду, как-то неуверенно засмолил сигарку. Определенно, ему хотелось что-то уточнить

у Дениса, касательно его супруги, но он не решался, понимая неуместность своего интереса. Подавив возникший соблазн, взялся разглядывать убранство комнаты.

Седых был не просто зажиточный и крепкий мужик, он принадлежал к разряду редких крестьян-однодворцев, способных при случае и помещика за пояс заткнуть. И ключевым тут считалась не финансовая его состоятельность (хотя деньги у Дениса водились), основным, являлось общепризнанное уважение мужиков к его личным качествам. Окрестные крестьяне, еще до германской войны, избирали Седыха в советчики, в арбитры мирских дел. Он посредничал в тяжбах общины с помещиком, с земством, с управой. Надо сказать, что Денис Парамонович занял таковое положение отнюдь не от великого ума, да и силой выдающейся не вышел. Умел он, правда, многозначительно молчать, вовремя поддакнуть, вовремя посочувствовать. Но решающим же обстоятельством являлось то, что мужик умел формулировать особую, лишь им увиденную правду, облечь ее в доходчивые слова, – и, самое интересное, – всем эта правда была любезна. Да и на фронте, призвавшись ефрейтором (еще с японской), он дослужился к шестнадцатому году до широкой нашивки на погоне.

Внутреннее убранство дома вахмистра напоминало интерьер зажиточного мещанского семейства. В простенке вытянулось мутное трюмо, обрамленное багетом с виноградными гроздьями. В углу поблескивала лаком точеная этажерка, ее полки покрывали вышитые крестиком салфетки. Возле оконца примостился, окованный полосами тисненой позеленевшей меди, старинный сундук. Наверняка в его недрах хранилось женино приданное, плотно утрамбованное, пересыпанное специальным табаком от моли. Вдоль стен, по-лакейски изогнув спинки, выстроились венские стулья, уже порядком продавленные, поизношенные временем, они должно перекочевали в дом Дениса из разоренной лихолетьем и мужиками барской усадьбы. В дверном проеме из спальни бросалась в глаза громоздкая кровать, украшенная никелированными перильцами и литыми шишечками на стойках. И, наконец, массивный стол посреди залы (овальный с изогнутыми ножками, устланный малиновым плюшем), окончательно придавал жилью солидную степенность.

В красном углу горницы поблескивал серебристой фольгой большой иконостас. Язычок пламени лампадки, колеблемый неосязаемым потоком воздуха, отражаясь в суровых ликах святых, придавал им пронизательно-суровое выражение, казалось, что грубо намалеванные парсуны оживали.

Облов подошел к иконам. Одна из почерневших досок возбудила его воображение – Иоанн Лествичник?! По узкой, шаткой лестнице, диагональю пересекавшей поле иконы, взбирается долу людская вереница в длинных библейских одеждах, должно, души умерших. Верхний конец лестницы приставлен к овальному проходу, где царственно восседает Иисус Христос, вознесший десницу навстречу идущим. В противоположном углу сверху – группа ангелов, склонив головы, скорбно наблюдает за сей процессией. Первыми, робко ступая на перекладины, вздымаются праведники, их взоры устремлены на Христа, они благоговейно зрят лишь его одного. За ними следуют чада более обмирщенные... Иные из них озираются назад, иные спотыкаются, есть и такие, что не удержавшись, кубарем скатываются вниз, и тотчас увлекаются в адскую геенну снующими по низу бесами. В самом низу иконы, у подножья, – толпа мирян взирает на извечный исход. Лики их смутны, ничего нельзя прочесть в них, хотя и эти страждущие люди вот-вот начнут выстраиваться в очередь, для уже собственного восхождения.

С чисто утилитарной точки зрения эта икона написана в наивно-примитивной манере. Как могло показаться на первый взгляд, богомаз просто грубо пересказал, затасканный евангельский сюжет. Но если поглубже взглядеться, вдуматься – то чувство, владевшее иконописцем, становится донельзя открытым. Явно пелагианский, еретический сюжет. Бог наделил человека свободой воли. Только человек, один он – хозяин своей судьбы. Стоит шагнуть не так, оступиться, уронить, расплескать собственное я, как мигом низвергнут в Тартар. Рассчитывай лишь на себя самого! Христос только протягивает, но не подает руки. Ангелы сокрушаются

по грешнику, но не поддерживают его, не вырывают из лап прислужников сатаны. Неужели таков опыт человечества, такова логика нашей жизни – лишь ты сам причина всех своих бед и воздаяние тебе, обусловлено только самим тобой. Для чего тогда искупительная жертва Христа, зачем тогда – христианство вообще?!

Облов, задумавшись, отошел от иконостаса. Душа его была не на месте. Лествичник зримо напомнил Облову его свершившуюся обреченность, по пятам преследующую неминуемую погибель.

Внезапно, меланхоличный настрой прервали две белобрысые детские головки, что, украдкой подглядывая за чужим дядькой, нечаянно высунулись в проем занавески, отделяющей залу от темной, незамеченной ранее боковушки. Облов, усмехнулся про себя, показал им рогатую козу. Головки шустро спрятались. Отец цыкнул на ребятишек. Облов вяло вступился за них.... Приголубить бы детишек, похвалить их перед отцом, просто, приветить их – ему было совсем невдомек, тяжелый камень лежал на сердце. Ни во что не хотелось вмешиваться, ни что не радовало, ни к чему не хотелось приложить своих рук – все чужое, он сам всему чужд. Он уже не принимал этого мира.

Хозяин, конечно, почувствовал несколько удрученное состояние гостя, перестал докучать пустой болтовней и донимать праздными расспросами, не лез в душу с идиллическими воспоминаниями. Облов заметил это и был признателен Денису за сдержанность и душевную деликатность.

Он намекнул мужику – не мешало бы побриться. Тот мигом достал бритвенный прибор, сбегал за кипятком. Наводя лезвие на широком ремне, Седых вознамерился предложить свои услуги в качестве цирюльника, но Облов воспротивился. Он любил сам намыливаться пеной, ему нравилось срезать поначалу неподатливую щетину, ощущать бритвой эластичную податливость кожи и видеть ее последующий глянец. Да и вообще вся процедура бритья доставляла Облову несказанное удовольствие, очищала от какой-то внешней и внутренней коросты, уравновешивала, возвращала веру в собственные силы, в собственную значимость, наконец.

И вот, иссиня выбритый, похудев и помолодев лицом, похорошевший Облов внезапно нагрянул на кухню. Хозяйка, размлевшая у раскаленной плиты, ошарашено уставилась на Облова. Видно ее поразило – как изменчив человек, недавний щетинистый проходимец с обветренной мордой, внезапно превратился в млажавого красавчика, с лоснящимся подбородком и франтоватыми усиками.

Удивленно проведя тыльной стороной ладони по взмокшим волосам, утерев бисеринки пота со лба и висков, она вдруг вся встрепенулась, как-то напряглась, сгруппировалась. Облов заприметил, как женщина, прерывисто задышав, расцвела, прямо на глазах раскрылась вся навстречу ему. Всем своим нутром он ощутил призывные толчки ее сердца. Дарья, будучи красоткой, ведала колдовством своих чар, напевно растягивая слова, пригласила к столу.

Она все больше и больше занимала, поглощала воображение Облова. Ее певучий, вкрадчивый голос, будто ударами бича, обжог его уши, и уже казалось, все тело осязает сладость звуков исторгаемых ее чувственным ротиком. Такая томительная сладость, словно с тебя содрали кожу и оголенная плоть, усыпанная мириадами нервных окончаний, неистово реагирует на всякий звук, запах, порыв, жест – любой импульс производимые телом Дарьи.

Он, ни мало не стесняясь ее мужа (своего сослуживца и помощника), голодным волчьим взором пожирал женщину. Она до дрожи в коленях нравились ему, он хотел эту бабу, он уже любил ее как суженую.

Наполнили стаканы, гость настоял, чтобы Дарья налила лафитник и себе. Та ничуть не смутилась. Денис Парамонович было возразил, мол, негоже бабе влезать в мужинскую компанию, но та нагло съязвила мужу, что не видит большой разницы между ним и собой. Мужик взъерепенился, стал, было подыматься из-за стола, с перекошенным от негодования лицом. Дарья же задорно засмеялась, игриво озираясь на Облова, замахала на мужа руками.

Денис умолк, поник, смирился со своей участью подкаблучника (его командир уже догадался об этом).

Самогон-первак могучно пошел по жилам, зашибающе ударил в голову. Облов прекрасно осознавал, что никуда не годиться заигрывать с бабой в присутствии живого мужа. Но еле пересилил себя. Намеренно затянул, укрощая дьявольский соблазн, совершенно беспредметный разговор с хозяином.

Они уже с полгода не встречались. За это время банда Облова, или как он ее наименовал – эскадрон, была полностью развеяна отрядами ЧОНа и милиции. Подавляющее большинство повстанцев-бандитов пришло с повинной, немало просто полегло в перестрелках, нарвавшись на засады, оставшихся переловили, судили трибуналом и отправили в места не столь отдаленные. Удалось скрыться самому Облову, да небольшой кучке особенно близких и преданных ему головорезов. Почти все они подались куда подальше, кто в Ростов, кто в Саратов. Сам Михаил Петрович все лето отсиживался в первопрестольной, носа не казал дальше Замоскворечья, но потом сошелся с осевшим в Москве офицерами. Дальше больше, его свели с цивильными, вкрадчивыми старичками, по их указке он отправился в родную губернию – «зондировать стратегическую обстановку». Но сложилось все как-то нелепо и по-дурачки. Пришлось инкогнито мотаться из города в город, из села в село, прежние связи, в основном, были порушены, новых же завести, почти не удалось. В конце концов его опознали в Козлове на вокзале, пришлось уходить отстреливаясь, благо, по ночному времени, посчастливилось скрыться «на ямах» у знаковой вдовы-шинкарки. На следующую ночь он ушел из Козлова, как думается – навсегда. Теперь уже дней пять шастает по окрестным уездам, где только не побывал, в попытке подсесть на проходящий поезд. Сегодня вот довелось заночевать у бывшего ординарца и вахмистра Дениса Седыха.

Облов держал Дениса на самый крайний случай. В банде Седых не состоял, Облов прекрасно осознавал, что рано ми поздно ему понадобится такой человек, не замаранный кровью, пользующийся авторитетом у простого люда, человек который не продаст и в тоже время не вызовет подозрений. Одним словом, комбат держал вахмистра про запас, для себя самого. Естественно, он приручил уже не подчиненного ему унтер-офицера, тому не раз перепадал жирный куш с погромных набегов банды, оно и понятно, с Денисом Облов мог не таиться. Сам Парамонович, разумеется, уважал бывшего командира, почитал при их встречах того за благодетеля. Но крестьянским умом отчетливо понимал, что рано или поздно придет час, когда радатель потребует отслужить. И вот верно настал тот час?! Денис, пересиливая собственный страх за свое будущее, покорно поддакивал Облову, всячески льстил, так, что нельзя было представить более неинтересного собеседника.

Но и в голове Облова засели совсем иные мысли и чаянья, он терпел, ерзал и все же не удержался. Якобы в шутку попросил, чтобы вахмистр официально (а на деле поближе) познакомил его со своей второй половинкой. Денис по-бараньи захопал ресницами, не ведая с чего начать. Но сама хозяйка оказалась не робкого десятка, назвалась Дарьей Саввичной. Начался чудной и непутевой треп, сплошная собируха. Перескакивали с пятое на десятое, и пили, пили...

Наконец, Облов изрядно охмелел. Перед его глазами неотрывно сновали белые полные руки Дарьи, ее чистенькие пальчики теребили концы шали и расправляли оборки кофты, приглаживали и без того гладкие, зачесанные назад русые волосы. Особо внимание захмелевшего атамана влекли круто вздымавшиеся груди женщины. Душил соблазн – схватить, стиснуть, неистово месить их ситное тесто. Страсть волнами накатывала на него, как на застоялого жеребца. Он делал вид, что хочет курить или хочет соленого огурца, но не мог оторвать глаз от этой напасти. Экая ты сатана – Дарья Саввична?! Однако пришла пора, ложиться спать.

Дарья встала из-за стола, повиливая широким задом, направилась в сенцы. Облов, сощурив веки, стараясь не выказать свой похотливый интерес Денису, жадно наблюдал за женщи-

ной. Она вскоре вернулась, прошла мимо, зазывно поводя влекущими бедрами, Облов через силу еле сдерживал себя. Денис показал приготовленное место для сна.

Слегка пошатываясь, гость прошел в узкую комнатенку, плюхнулся на свежестланую лежанку, в раскорячку стал стягивать вросшие в ноги сапоги. Распространяя пряно-медовый запах, впорхнула Дарья. Насмешливо, и в то же время с загадочным намеком, поглядывая на постельца, она взялась сбивать большую, рыхлую подушку в цветастой наволочке. Облов от накатившего вожделения заскрипел зубами. Хозяйка низко пригнулась, пытаясь пристроить подушку в изголовье кровати. Облова опалило ее горячее дыхание, голова пошла кругом, он попытался по-простецки, намеренно грубо облапить женщину. Ловко, по-кошачьи, увернувшись от его растопыренных рук, она интригуяще поднесла пальчик к вытянутым в дудочку губам. Не составило труда сообразить, что Дарья согласна..., но пока муж крепко не заснул, придется подождать. Он по-юношески уступил, сотворив при этом физиономию неистово алчущего фавна, полагая, что Дарья окончательно растает от выказанного им страстного нетерпения. Обольститель из него был никудышный, он понимал это, но уже как-то свыкся, что в последнее время женщины покоряются ему безоговорочно, из одного страха, но здесь был совершенно иной случай, явное взаимное влечение.

Так, что деваться некуда, подвыпивший ловелас настроился ждать обольстительницу. Дарья почему-то долго не шла, порой из горницы проникал взаимно раздраженный шепот супругов, долетали фразы откровенной брани. Михаил Петрович стал прислушиваться. Дарья, как свойственно самочинствующим женам всячески попрекала мужа, откровенно «пилила» его, тот матерно огрызнулся. Облов попытался вникнуть в суть их конфликта, но что-то никак не схватывал. Потом в голове началось мутиться, напозла тяжелая гнетущая хмарь, он пьяно заснул.

Пробуждение его было беспросветно тоскливо, с похмелья ныло все тело, саднила под ложечкой, к горлу подступала горькая тошнота. Он вспомнил о вчерашнем прелюбодейском соблазне, но душа не лежала даже к этим воспоминаниям. Жаждалось одного – опохмелиться. «Опоили гады дурманом?!», – зло подумал он. Насилу оторвавшись от постели, присев на краешек ложа, стал медленно одеваться. Неимоверная слабость оплела его плоть, он закашлялся, заперхал по-стариковски, следом невольно грязно выругался. Тут, вдруг, распахнулась люлька занавеска и в проходе комнатухи предстала Дарья Саввична. Облову, если быть до конца честным, было совсем не до ее прелестей, толком он и не смотрел на нее, одно единственного взгляда было достаточно – она показалась ему раскормленным куском мяса, да и только.

Дарья же, снисходительно поглядывая на поблекшего кавалера, с неприкрытой, язвительной насмешкой спросила, церемонно поджав губы:

– Как Михаил Петрович извоили спать-почивать? Какие такие сны видали? Уж больно вы ночью-то храпели. Я ажник до самого утречка глазонек не сомкнула.

– Извиняй Дарья Саввична, – было стыдно, в столь дурацкой роли боевому командиру быть не пристало, Облов попытался усесться потверже, но как-то все валило набок. – Лишку, видать, перебрал, должно зело силен ваш-то первачок, начисто сбил меня с седла! – И вдруг, он подловил себя на том, что поддельвается под говор этой селяночки, унижает себя, нарочно представляется неотесанным болваном, в надежде получить снисхождение. Облов про себя желчно усмехнулся: «Дошел, однако, герой, перед бабой оправдываешься?!» Собрав остатки воли в кулак, решительно встал, для виду лениво потянулся и, напустив иронический тон, выговорил густым баритоном:

– А, что Дарья Саввична, не найдется ли у вас жизненный эликсир? Отвратительно, видите ли, себя чувствую, помогите, полечите меня, голубушка...

– Вас, чё опохмелить, что-ли? Так бы и сказали, пойдём-ка в горницу, – и она резко повернулась, запахнув разлетевшуюся юбку, картинно очертив свою ладную фигурку.

– Хороша все же бабенка! – оттаяв сердцем, отметил, почти протрезвевший, Облов.

Заглотава полстакана ядерного самогона, выдержав набежавший позыв рвоты, Облов ощутил умиротворение и благодать. Он улыбнулся радушной хозяйке, даже как-то затейливо подмигнул ей, и, опомнившись, спросил:

– Дарья Саввична, а где наш Денис Андреевич, куда он подевался?

– Да вышел к скотине, корму пошел задать, да и вашего коника надо обиходить. Ладный у вас те конек-то какой?!

– А что Дашенька? – позвольте мне вас так называть, – Облов налил еще рюмашку верхом и мигом опорожнил ее. – А, что Дашенька, не скучно ли тебе тут на отшибе, поди, печалишься красавица?

– А чего мне скучать-то? У нас с Денисом, сами видите, – хозяйство, опять же детишки у нас, нам некогда скучать, – бодро заключила она!

– Н-да?... – Михаил Петрович сразу и не нашелся, что ответить. – По-моему, ты Дашенька не права, совсем не права. Такая интересная женщина и, так сказать, похоронила себя в этой дыре, засела в глуши, на хуторе. Бог ты мой, какая дикость?! Так нельзя, надо жить для себя, для радости, а ты целиком отдала себя в крепость Денису Парамоновичу. Он, верно, и не сознает, что ты за прелесть такая?! Ты, правда, весьма пригожая, в тебе есть даже что-то царственное, высокое! Надеюсь, ты понимаешь меня? – Облов знал, что мелет несусветную чушь, но, начав приступ, остановиться, было уже никак нельзя.

– Да как не понимать?! Я ведь многим нравилась в девках. За мной и землемер, Павел Сергеевич, бегали. Ухаживал, ухаживал он, распинался, распинался, да только я не про него, уж больно он мозглявый, плюгавенький, пищит по-птичьи...

– Ха-ха! Землемер какой-то говоришь, да уж, интересные у тебя были кавалеры?! – Подспудно Обловым опять овладела вчерашняя страсть, и она стала захлестывать его. – Позвольте Дашенька, красавица, моя ненаглядная, позволь я тебя поцелую! Уж очень ты мне, девочка, нравишься! – он подошел к ней вплотную.

– Да, что вы Михаил Петрович, ребятишки тут у меня, – а сама вся зарделась, затрепетала...

Облов стиснул желанную женщину в своих объятьях. Никогда еще так податливы не были женские груди, никогда еще так сладки не были женские уста, шейка, плечики. Он подхватил Дарью на руки и как перышко отнес к себе в закуток. Женщина сомлела от его ласк. Заголившись, она покладисто позволяла делать с собой все, что подсказывала Обнову страсть...

Внезапно вороньим карканьем разнесся корявый голос Дениса. Мужик окликал свою жену, он уже искал ее по всему дому, и не находил. Облов судорожно взялся застегивать гульфик галифе, а Дарья одергивать с потного тела, задранную под горло сорочку, как вдруг на пороге выросла фигура Дениса. Раскрасневшиеся лица гостя и супружницы, застрявшая на бедрах сорочка жены, сама нелепая сцена их уединенного пребывания «с потрохами» выдали их. Денис ошеломленно схватился за голову и дико заревел: «А-а-а!». Облов даже порядком струхнул. Дарья же в испуге оступилась и упала спиной на кровать. Пытаясь найти равновесие и приподняться, она заголилась, и уже парализованная стыдом и страхом, поджав ноги к груди, отодвинулась к стенке. Женщина судорожно пыталась прикрыть ощерившуюся промежность и это окончательно взорвало Дениса. Мужик вопя, выбежал из спальни. В столовке раздался несусветный грохот, что-то дребезжащее рухнуло с высоты, что-то мелко рассыпалось по полу.

– Как бы ни случилось беды?! – пронеслось у Облова, он резво выскочил в горницу.

И в тоже мгновение туда разъяренно ворвался Денис Седых. В его руке сверкал отточенным лезвием широкий плотницкий топор.

– Зарублю сволочей, зарублю!!!

Истерично завизжали за перегородкой ребятишки, но Михаил Петрович не слышал их воплей. Давно заученным приемом, ловко изогнувшись, он перехватил занесенную руку своего

вахмистра, мгновенно прикинул, стоит, ломать её или нет, но не стал, просто вывернул как можно сильнее. Мужик истошно взвыл, но уже от боли. Облов вырвал топор, отбросил его в сторону. Мгновение подумал и, для полного контроля над ситуацией, бойцовским ударом в челюсть, начисто вырубил несчастного хозяина. Нокаутированный Денис мешком рухнул на пол.

Вот тебе бабушка и Юрьев день?! – Утирая холодный пот, с трудом подбирая слова, произнес Облов. – Как теперь выкручиваться то?!

Но что это?! Словно разъяренная фурия на гостя набросилась уже сама хозяйка. Визжа недорезанным поросенком, Дарья сиганула ему на плечи, кошкой вцепилась в волосы. «Вот ****ь!» – мелькнуло у Облова. Он перехватил ее за талию и сорвал с себя, как измокшую под ливнем шинель.

Женщина отползла к окну, уткнулась в крышку сундука и зашлась в беззвучном плаче. Облов, еще в ступоре, тупо смотрел на невольно обнажившиеся прелести Дарьи, и вдруг просветленно осознал, что опять хочет ее.

– Пропал, совершенно пропал! – наконец, разум вернулся к нему.

Застонал, приходя в сознание, поверженный Седых. И вот, очухавшись, он зачумлено отсел к стене, вертя большой башкой из стороны в сторону и недоуменно ощупывая разбитую скулу.

Облов решил ретироваться по-хорошему. Он намеренно громко, вдалбливая, как учитель двоечнику, выговорил своему вахмистру:

– Ты, вот что Денис Парамонович? Ты зла на меня не держи. Ты мужик сообразительный, ты должен войти в мое положение. Пойми, обезбабел я вконец! Не мог совладать с собой... Ты уж меня, братец, прости. Ты вспомни германскую, вспомни Польшу, Галицию, как мы, истосковавшись, на панночек кидались?! Не смог я себя удержать, да еще выпивка, будь она неладна, замутила, отключились мои мозги. Ты не держи на меня зла, а Денис Парамонович?!

Вахмистр, вода красными зенками, что-то нутряно промышчал, и в том его рыке бурлила невыносимая злоба униженного и неотомщенного человека. Наконец, он выговорил:

– Уйди гад! Уйди паскуда! Уйди, что ты на меня пялишься, гад ты ползучий!

– Парамоныч, я сейчас уйду, обязательно уйду. Так лучше будет. Ты только смотри, бабутька не уродуй. Она баба дура, она совсем тут не при чём. Это все я виноват! Ты пойми меня, Денис Парамоныч, бес попутал, я не хотел тебя обижать, поверь мне.

– Уйди Иуда! Да уйди ты с глаз моих, Христа ради уйди!

Облов попятился, и уже для острастки добавил:

– Ты смотри, бабутька не обижай, не виновата она, коли что узнаю – приду и накажу. Ты меня знаешь Денис.

Невзначай взор Облова коснулся иконы Иоанна Лествичника. Иисус осуждающе взирал из своего чертога, ангелы потушили взоры, черти шустро ворошили адское полымя, грешники злобно скалили зубы.

Михаил Петрович скоро собрался и, застегиваясь на ходу, выбежал из дому, его всего трясло...

Вызволив жеребца из стойла, торопливо взнуздав его, позорно озираясь, Облов провел коня за ограду. Кособоко вскочил в седло и помчал в степь. Малость остыв, успокоившись, он стал размышлять: «А ведь теперь вахмистр, пожалуй, забудет свою бабутьку? Да, хорошенькая у него жинка. Это же надо мне так влипнуть, ну прямо, как кур во щи?!».

И огрев коня плетью, уже залихватски, по-гусарски заключил: «А, черт с ней, с бабутькой, что с ней подеется! – И посерьезнел. – Как бы он, сволочуга, меня не заложил, он теперь на все способен. Ну ладно, придется сказать, чтобы пуганули его на всякий случай. – И засмеялся про себя. – Ах, она стерва такая, бросилась на меня аки тигрица?! Ишь ты, муженька ейного убивают?! Пакостница ты этакая?! Пампушка ты такая?! Дашка! Дашенька! Дашулька!».

Главка 3

И вот, опять один?! Тоска, саднящая нутро, отравила восприятие окружающей действительности. Совсем не радует погожий солнечный денек, не завораживает, открывшаяся взору безоглядная степная даль. Не бодрит упругий, колючий ветерок, смахивающий с небесной лазури последние, рваные клочки серо-землистой хмари.

Отменно накормленный конь ретиво несется, раздувая влажные ноздри, ему и невдомек, какая юдоль творится в душе седока, какой камень лег тому на сердце, жеребцу безразлична пустота, обступившая его хозяина, коню никак не понять, что они держат путь в никуда..

Облов надеялся сыскать пристанище у давно знакомого крестьянина-богатея, одного из столпов волостного села Рождественно. Человек этот – Кузьма Михеевич Бородин, приходился старшим братом одного неумного приказчика, к слову сказать, выпестованного и выведенного в люди семьей Михаила. Отметив эту оборвавшуюся связь, Облов невольно вспомнил отчий дом, перед глазами встали любезные сердцу образы умерших родителей. По сегодняшним, принятым в Советской России меркам, его отец – Петр Семенович принадлежал к сельской буржуазии, отнюдь не ровня воротилам кулацкого пошиба, теперь его сочли бы настоящим капиталистом. Он держал водяную мельницу, которая досталась ему еще от старшего Облова, Семена Марковича – деда Михаила. Своими трудами он последовательно, на протяжении четверти века, скупал к ней у разорявшегося местного помещика его мастерские, фермы, конюшни, рыбные пруды.

Михаилу представились осклизлые, замшелые стены старой мельницы, хищное чавканье водяного колеса. Словно в яви почувствовался хладный дух гнилой сырости тянущий из-под свай, на которых гнездилась вся обширно разросшаяся конструкция. На этот идиллическом фоне, подобно истертым кадрам старой кинохроники изобразились и сами мельничные рабочие, обсыпанные с ног до головы мукой, послышались их веселые прибаутки, зримо почуялась сила их натруженных рук, легко вскидывающих на хребет пятипудовые мешки. Ему привиделись также расхристанные подводы помольщиков, извечно скученные на высоком берегу реки. Вкруг них собирался праздно шатающийся люд, влекомый к мельничному сборищу возможностью почесать языки и показать себя, этакий вечерней сход. На самой же мельнице жизнь была постоянно напряженная, круговерть не затухала даже в выходные дни. Лишь по большим государевым и церковным праздникам там, наконец, наступала благодатная тишина. Правда, к вечеру благодать завершалась шумом и гамом пьяной толпы на крутояре, выходящей стенка на стенку. Любит русский мужик попотчевать себя в удовольствие кулачными битвами (не столь уж потешными), и по правде сказать, совсем не до первой крови... Случается насилу отливают колодезной водой. Порой и сам Петр Семенович, засучив рукава, обнажив мосластые кулаки, становился в ряд, разумеется, его старались не зашибить, только тешили, мужики понимали, как ни как – благодетель.

Вспомнилась и расположенная у въезда в лес отцовская пилорама. Неистовый визг паровых пил, округ желтые штабели свежих распущенных досок, россыпи горбыля, горы пахучих и мягких опилок. И среди сосново-душистого мира снует приказчик дядя Игнат в своем обсыпанном перхотью сюртучке, с неизменным дерматиновым портфелем подмышкой, с вечно слезящимися глазами и луководочным запахом изо рта. Игнат Михеевич, выдвинулся из простых десятников, его медом не корми, только дай приветить наследника – Мишеньку. Обычно приказчик начинал с того, что нахвалявал одеяния хозяйского сынка, мол, какие у тебя Мишенька сапожки, ну, прямо, как у «прынца-заморского», а какой у тебя, паря, поясок, такую вещь не зазорно и Бове-королевицу повязать на расшитый золотом кафтан.

В дальнейшем, когда Облов стал учиться в реальном уездном училище, подхалим Игнат взялся восторгаться Мишенькиной ученостью, находил в мальчишке исключительные способ-

ности и таланты, прочил отнюдь не блестящего «реалиста», чуть ли не в генерал-губернаторы. В дальнейшем они потеряли друг друга из виду. После февраля семнадцатого с Игнатом Михеевичем произошла чудесная метаморфоза. Уже, будучи вполне солидным человеком, отцом семейства, он «с какого-то перепуга» решил баллотироваться в члены уездного совета от партии социалистов-революционеров, или как там еще их называли – эсеров. Облов, к тому времени находящийся по ранению в отпуске, раза два инкогнито приходил на предвыборные митинги, стоял далеко в сторонке. Михаила глубоко оскорбили напыщенные слова бывшего прихлебателя о тяжелой крестьянской доле, об истинно народной партии, о мужицкой справедливости и, наконец, о грядущем возмездии «живоглотам» (интересно кого он подразумевал – не самого себя ли уж?). Подвыпившие мужики дружно рукоплескали знакомому оратору, поощряли того выкриками: «Твоя, правда Игнат Михеич!» или «Давай Игнат, дело говоришь!», ну и всё в таком же шапкозакидательском роде. Облов на этих разношерстных митингах кроме трескучей революционной фразы и откровенно льстивых реверансов в адрес всякого рода люмпенов, или заигрывания с дремучими инстинктами косного мужика ничего вразумительного не услышал. Ну, а уж демагогия самого Игната могла привлечь лишь вовсе самые темные и неразвитые натуры. Если честно сказать, то сам Облов никогда прежде, а тогда в особенности, не воспринимал приказчика всерьез, его политические амбиции считал просто возней хамского племени. Судьба злодейка распорядилась по-своему. Игнату отчаянно не повезло, как-то поехав на собрание в Тамбов, по дороге был убит и ограблен головорезами, выпущенными в тот год по амнистии. Похороны партийцы устроили по первому разряду, хоронили Игната с оркестром и кумачовыми флагами. Кстати Облов-отец тогда очень кручинился, оно и понятно, старый лис делал ставку на своего человечка. Но вот Господь не сподобил, а следом пошли сплошные реквизиции и разоренный отец умер с отчаянья в восемнадцатом.

Следом явилась в памяти покойница-мать Варвара Никитична: рыхлая, болезненная женщина, то и дело стонущая и охающая, постоянно перевязанная крест-накрест пуховым платком. В последние годы она надоедливо молила Господа, чтобы поскорей прибрал ее. Мать не оказывала никакого воздействия на практические дела своего мужа, ее сферой являлась церковь, старухи-нищенки, юродивые прорицательницы и весь тот тунеядствующий сброд, снующий по церковной паперти.

Михаилу от матери передалось одно весьма нежелательное качество – суеверие. Еще в раннем детстве его неосознанно влекли душешипательные истории о мертвецах, оборотнях, о происках колдунов, а так же его умиляло противостояние им, в лице старцев-отшельников, и иных подвижников, клавших живот свой на алтарь борьбы со всяческой нечестью. Понимая разумом вздорность подобных бабьих сказок, он внутренне не мог преступить известные всем заповеди, приметы народных суеверий. Он обходил стороной арочные столбы на перекрестках, не подымал обороненных чужих вещей, старался не общаться с людьми, подозреваемых в сговоре с нечистой силой. Кстати, было одно событие, один факт, который и по сей день леденит кровь в его жилах. Это приключилось с матерью, очевидцы тому все Обловы.

Как-то Варвара Никитична одна отправилась в приходскую церковь. И вдруг, чего с ней никогда не случалось, с полдороги вернулась обратно. На ней лица не было... Отец, шутя, спросил: «Не забыла ли она свой «благотворительный» кошель (мать всегда помогала бедным и увечным). Варвара Никитична ничего не ответила, молча прошла в дом и уединилась. Но видно ее потрясение было столь велико, что она не смогла удерживать его в себе, вечером она открылась домочадцам.

Было так.... Идет она себе по тропке. Внезапно поднялся сильный ветер, настоящий вихрь, мигом завертел пыль столбом, и разом стих.... И видит мать, что прямо у ног лежит большая раскрытая книга. Она возьми, да и подыми ее. И тотчас взор упал на разверстую страницу. И прочла она там: «Варвара Облова, в девичестве Кузовкина умрет в год трехсотлетия царствующей династий, под Николу зимнего, умрет ногами?!».

Мать в ужасе отбросила книгу. Та, не коснувшись земли, растворилась в воздухе, растаяла, будто и не было её..

Все стали успокаивать мать, уверять, что ей пригрезилось, почудилось. Но по-правде сказать, сами мало верили своим доводам, потому крепко тогда призадумались. Варвара Никитична даже слегла поначалу, затем отошла, случай вроде как забылся.. Только где-то в десятом году вернулся тот страх. Стали у нее сильно пухнуть ноги, она еле ходила, а в год юбилея Романовых ноженьки совсем отнялись, и в декабре она представилась.

В год смерти матери Михаилу стукнуло тридцать лет. Давно позади школярство в Козловском реальном училище, позади изматывающие годы учебы в столичном Технологическом институте. Михаил несколько раз порывался бросить технологичку, его совершенно не прельщала инженерная стезя, он терпеть не мог точных наук, чертежей, всяческих расчетов и вычислений. Отцу приходилось неоднократно призывать сына к порядку, даже угрожать лишением наследства. Боязнь потерять отцовское расположение вынудила таки Михаила с грехом пополам дотянуть лямку постылого студенчества. В стенах института он на короткую ногу сошелся с сынками известных петербургских воротил. Ощущая себя несколько парвеню, он, тем не менее, выгодно выделялся среди жуирствующих молодчиков. Его довольно солидные познания в области изящной словесности и изобразительного искусства привлекали к нему помимо друзей оболтусов и их прелестных, ветреных сестриц. Короче Михаил Облов слыл в своем кругу неким эстетствующим бонвиваном, что не помешало ему все же завести ряд весьма полезных и пригодившихся в последствие знакомств.

Окончив с грехом пополам институт, Михаил не поехал домой, а устроился банковским служащим у одного своего приятеля – еврея по национальности, но человека радушного, по-русски широкого. По старой дружбе молодой банкир особенно не загружал работой своего однокашника. Михаил пользовался неограниченной свободой и льготами, катался из одной столицы в другую, выезжая с конфиденциальными поручениями в Киев, Вильну, Варшаву и даже Тифлис. Так бы ему и жить дальше, глядишь, присоединил бы к батюшкиному свой, начавший выстраиваться капиталец, а там познакомился бы с девушкой из приличного семейства и все бы наладилось, как у остальных людей...

Да вот приятель еврей, по-свойски втянул Облова в элитарный политический кружок, имевший тесные связи с социал-демократами, конкретно меньшевиками. Дальше больше, Михаил стал членом партии, ему по-настоящему было интересно. Он увлекся революционным максимализмом, ему нравилась интригующая, порой даже конспиративная, суэта партийного функционера, он даже стал таить мечты о политической карьере. Как не смешно теперь это представляется, видел себя, как когда-то прочил приказчик Игнат, – уж если не губернатором, то уж депутатом Государственной Думы или товарищем министра.

Но, как известно – дорога в ад вымощена благими намерениями. Начались гонения на леваков, большинство ячеек подверглось разгрому, кого-то из партийцев посадили, иных выслали под надзор полиции. Арестовали и Михаила, к счастью знакомство с Крестами оказалось не продолжительным, банкир добросовестно отстарал своего протезе. Выйдя на волю, Михаил, пожалуй, впервые серьезно задумался о собственной участи. Судьба вечного арестанта или ссыльного поселенца его, естественно, мало прельщала. Реально, с надеждой выдвигнуться в лидеры одной из многочисленных социалистических групп, пришлось распрощаться. Для него уже не было секретом, что все эти высокие идеи, рассуждения о порушенной справедливости, а уж тем более демагогические споры о необходимой России экономической доктрине, лишь приманка для наивных, романтических юнцов. На костях этих мальчишек дяди с профессорскими манерами зарабатывают себе авторитет и строят свое благополучие.

Михаил плюнул и уехал домой – на Тамбовщину. Отец, проглотив горькую пилюлю, по поводу не оправдавшего надежд сына, тиснул его чиновником в городскую управу, абы не шлялся без дела. Новое поприще так мелко и пошло, что Облов захандрил, неотступно

тянуло опять на берега Невы. Между тем, приятель-банкир, покинув Россию, обосновался в свободной Швейцарии, да и все бывшие соратники и «подельники» расплзлись кто куда. Молодой Облов с безысходной тоски пристрастился к выпивке, уяснив, что чадо основательно задурило, отец спешно приискал ему невесту – дочку Козловского купца-хлеботорговца, слышшего миллионщиком. Девица была средней паршивости (жидкие волосенки, «прибитый» зад и плоские груди), лишь косилась украдкой подведенными глазками. Душа к ней совершенно не лежала, но сколько еще таскаться по танцевальным вечерам, вернисажам, пикникам и прочим увеселительным мероприятиям, выискивая легкомысленных дурех, отдающихся за флакон контрабандной туалетной воды. Михаил отрешенно махнул рукой на свою судьбу – будь, что будет?! Тут занедужила, а затем умерла мать. Венчание, разумеется, отсрочили на год, а потом оно и вовсе расстроилось. Девицу-купчиху спешно сосватали за бородатого железнодорожного начальника из дворян. Став благородной мадам, она быстро расплнела, обрела даже известного рода привлекательность провинциальной кокетки. До Михаила, потом дошли городские сплетни, что его бывшая пассия малость пошаливает от своего путейца, ну, да и Бог с ней...

Грянула война с германцем. Петр Семенович намеривался откупить единственное чада от мобилизационного призыва, но Михаил скорее от скуки, нежели от избытка патриотизма, наотрез отказался от брони, сам поехал в штаб округа. Не прошло и полгода как на его плечах заблестали путеводные звездочки. Он получил назначение в кадры 10-й (Неманской) армии, на должность военного инженера. Едва Облов-младший прикатил в Гродно, как седьмого февраля немцы начали свое обвальное наступление в Восточной Пруссии. Уже получив предписание, Михаил чудом избежал командировки в Осовецкую крепость – там бы ему досталось на орехи. Осовец в течение шести месяцев прикрывал пятидесяти километровый промежуток между истекавшими кровью русскими армиями, оставшись один на один с таким мощным противником, каким являлся блокадный германский корпус. Крепость выстояла, но какой ценой?! Михаилу же в другом месте довелось хлебнуть полной ложкой – испытать горькую участь отступавших войск. Его и по сей день, пробирает мороз по коже, стоит вспомнить тот хаос и панику, когда офицеры стреляют в солдат, бросающих отведенные позиции, солдаты в отместку исподтишка убивают слишком ретивых офицеров. Это только потешно звучит – праздновать труса, это отвратительно, когда ради спасения собственной своей шкуры, идут не только на предательство и самострелы, готовы буквально на самые мерзкие смертные грехи.

С величайшим трудом, но положение на фронте Неманской армии стабилизировалось. Второго марта армия перешла в наступление. Было проведено большое реформирование, Михаил получил назначение на должность строевого командира в пехотный полк. Русские стремительно шли вперед, подкрепленные свежими силами. Войсками овладел наступательный азарт. Облов по праву считал это время самым красочным в своей до селе бесцветной жизни. Однако, фронт не фееричный каскад кафе на променаде Каменоостровского проспекта. Михаил был ранен в плечо, пострадал не так уж, чтобы очень тяжело, но пришлось эвакуироваться в тыл. Гродно, Тверь, Москва. Как назло, рана долго не затягивалась, удручающе пустынно тянулись часы, дни... В окружной госпиталь не раз приезжал отец, по-своему умасливая военных врачей, поставил-таки сына на ноги. С месяц Михаил пробыл дома, в Козлове и..., и опять фронт....

Наступил его звездный час. Точнее вневременное состояние, когда твое я – уникальное и единственное, уже не имеет всеобъемлющей самоценности, когда ты, наконец, проникаешься одной до безразличия простой истиной, что собой можно, а порой, даже нужно пожертвовать, поступиться ради общего дела. Летом пятнадцатого года поручик Облов, командуя остатками роты пеших егерей, трое суток сдерживал бешеные наскоки бошей, пытавшихся с фланга обойти рубеж начавшей отступление, его, до последней степени, измотанной дивизии. Как он смог тогда выстоять – ведает только один Бог?! Пожалуй, те трое суток – апофеоз его

военной карьеры! Сам генерал Эверт, вручая орден Святого Георгия 4-й степени, долго-долго тряс ему некстати разболевшуюся руку. Но высокая награда, особо не радовала, ему было как-то странно – неужели он выстоял, неужели это он – он еще живой, ходит, ест, пьет.

Ну, а потом пошла уже настоящая каша...?!

Михаил Петрович Облов заматерел, начисто позабыл свои прежние салонные и либеральные замашки, научился заправски глотать неразведенный спирт, стал надменно презирать штабных фертов. И, что уж вовсе непонятно, пристрастился бить нерадивых солдат по мордасам, как тогда любили говаривать бесцеремонные офицеры. Последний свой Георгий, для его уровня, особо высокой – третьей степени, он получил за декабрьскую шестнадцатого года наступательную операцию под Митавой. Заслужил, будучи капитаном, исполняя обязанности командира батальона в составе 12 армии Северного фронта. Награду вручал командующий армией Радко-Дмитриев, бывший болгарский посланник, ставший героическим русским генералом (в октябре восемнадцатого он был зарублен шашками пьяными чекистами в Пятигорске). Облову же вопреки всем уложениям досрочно присвоили звание подполковника и, откомандировав на Юго-Западный фронт, предоставили краткосрочную побывку. Но и в родимых пенатах было не лучше – началось всеобщее стояние перед бурей...

Осень семнадцатого застала Облова в Новоград-Волынский. Большевики настолько разложили армию, настолько деморализовали ее, что отношение к солдатам у Облова и офицеров его круга, было одним – нещадно пороть. Но открыто выказывать столь закоснелые убеждения становилось опасно, солдатское быдло не церемонясь расправлялась с неугодными ей. К примеру, одного кадрового офицера, воевавшего еще в японскую, запросто насадили на штыки, лишь за то, что тот потребовал от нижних чинов идти в очередной караул. Облов счел разумным, наплевать на такую армию. Он забросил службу, сошелся с одной пухленькой сестрой милосердия, они гуляли с ней в парках, осматривали костелы, посещали синематограф. Когда их полк окончательно расформировали, возлюбленные уехали к ее родителям в маленький городок на Смоленщине – Рославль.

Встретили его очень радушно, всячески ублажали, домашние Наташи, так звал сестру милосердия, верно смекнули, что Михаил прекрасная партия дал их засидевшейся в девках дочери. Облов и сам уже настроился свить семейное гнездышко, чего оставалось ждать от жизни, пора, наконец, найти покойную пристань, хватит метаться попусту из стороны в сторону.

Но, все «коту под хвост», Совдепы стали шерстить офицерский корпус, Михаилу пришлось спешно покинуть уютный Рославль. Городок остался памятен обилием дворовых шестов с ветвистыми охапками гнезд белых аистов.

Началась новая Одиссея... Остро встала проблема выбора: с кем ты подполковник Облов?! Раскинем карты... С бывшими юнцами-субутыльниками, прожигавшими жизнь в ресторанном Питере; с подобными им кутилами и бабниками из числа штаб-офицеров; а может, с печальным полковником Федоровым, страстным почитателем философа Владимира Соловьева; или штабс-капитаном Котовым схоронившим на чужбине младшего брата подпоручика, растерзанного одичалыми дезертирами, – с одной стороны. А с другой – с балтийским матросом Латынюком – окружным военным комиссаром, грозившим перестрелять всю офицерскую шоблу; с пьяным сбродом одичалой солдатни, разбившей винные склады купца Щукина, неделю продержавшим в трепете весь город; или с говорливым еврейским подмастерьем Яшей Эйдельманом утверждавшим, что теперь для российского еврейства настали золотые времена. Подумать только – наш Свердлов, наш Зиновьев, наш Троцкий, он еще много кого называл из своих местечковых революционеров. Облов же (со всеми минусами) остался верен присяге.

Вот и подался он на Дон к атаману Каледину, потом оказался в Добровольческой армии, в составе кавалерийского полка наступал на Москву, затем «драпал» обратно до Новороссий-

ска, – переправляться в Крым не захотел. К тому времени он стал теперешним озлобленным Обловым. Его ранее совсем не меркантильная натура очень болезненно восприняла известие о реквизиции у отца пилорамы и мельницы, об отнятом доме в Козлове, а о фермах и конюшнях и говорить не стоит. Михаил уже привык жить своими трудами, привык обходиться малым, была бы чарка, да сносная закуска. Но тут, узнав об унижении отца, он как-то ошалело остервенился, стал беспощадным. За это неукротимое качество его побаивались даже свои, но и отличали, в то же время старались не связываться с ним.

По молодости равнодушный к отцовым орловским жеребцам, уже в Белой армии он заделался заправским лошадиником, как видно ему на роду было написано стать кавалеристом. Итак, вместо Крымских степей, он с отрядом таких же отчаянных сорвиголов, под водительством уж вовсе дикого грузинского князя, ушли за Кубань. Ох, и наворочали они там дел?! Облов, скорее всего, и сложил бы буйну головушку на Кавказе, но прослышал о крестьянском мятеже на Тамбовщине и решил податься в родные края. Разумеется, с неотвязной думой поквитаться за умершего от инфаркта отца, да и вообще за свою незадавшуюся жизнь. Но опоздал. После разгрома Тухачевским и Уборевичем основных сил повстанцев, после газового измора беззащитных деревень, массовых расстрелов заложников и строптивых крестьян, после зачисток Котовского – как еще можно было проявить себя строевому офицеру? Облову поначалу пришлось прикинуться тихим советским гражданином, даже зарегистрироваться на бирже, разумеется, по подложному паспорту. Но не таков был Михаил Петрович, чтобы тихонечко злобствовать, посапывая в кулачок. Неудачи не сломили его, наоборот подстегнули в нем противленческий инстинкт. Если оттолкнуться от читанных в детстве книжек об индейцах Майн Рида, то его тотемом стал Тамбовский волк. Да он и сам уже сравнивал себя с одиноким волком, даже стал походить статью на бесстрашного серого зверя.

Облов пошел по селам. Он не считал ночей и дней. Ему и еще трем отпетым головорезам из поверженной крестьянской армии Тукмакова, удалось сбить небольшой, мобильный отряд из обиженных советами деревенских мужиков. Конечно, по малочисленности, серьезно повредить новой власти они не могли, но все же в окрестных уездах опять полилась комиссарская кровушка. В партийных и советских инстанциях пошли разговоры о белом, бандитском терроре, опять поднявшем голову на Тамбовской земле.

Нужно понять оторванных от нормальной жизни, обозленных репрессиями здоровых мужиков, которым бы пахать землю и растить детишек, а вместо того вынужденных задарма ишачить на загребущих чужедов и их крашенных девок, в кожаных куртках. Некогда богатейшая Российская губерния, в прямом смысле житница России, со своим трехметровым слоем чернозема, влачила нищенское существование, разоренная поборами продотрядов, начисто выгребавшими остатки хлебушка у непривыкших кланяться, а уж те паче побираться тамбовских крестьян. Как тут не взвыть от обиды, как тут не схватить обрез, как тут не открутить голову зарвавшемуся пришлому начальнику. Вот и убивали зарвавшихся продотрядников, всяких там присланных из Москвы тысячников, а заодно и сопровождавших их советских служащих. Случалось, наказывали плетью, а то и шомполами упертых мужиков, не желавших помогать лесному братству. Были печальные факты изнасилования подвернувшихся под пьяную руку молодок, а то и баб, за такие дела Облов спрашивал с особой строгостью. Дрожавшие от страха комитетчики и их подпевалы во множестве распускали о них грязные, порочащие слухи, мол, обловцы убивают просто так – за один лишь косой взгляд.

Конечно, Михаил Петрович частенько задумывался – тем ли он делом занялся? Да и вообще – для того ли родила его мать, порол в детстве отец, учили долгих тринадцать лет? Зачем, наконец, он водил в атаку своих егерей, ради чего гнил в госпиталях, и самое обидное, с какой целью читал множество умных книг?!

Определенно – не за тем! Но с проторенного пути уже не сойти, назад хода нет. Сам собой, завязались прочные связи с антисоветским подпольем. Облов неоднократно выезжал

в Воронеж, Саратов, Москву – выслушивал неисполнимые инструкции, получал по сути уж не такие большие деньги, в общем, по советским понятиям, стал самой что ни на есть отъявленной контрой. А с такими один разговор, с ними не цацкаются, одна лишь мера применительна к ним, а именно, высшая мера социальной защиты – смертная казнь.

И вот, он остался совсем один. Почему он скачет по степи, почему снует ночами по схопившимся в щелях атаманцами, почему пытается сколотить новый отряд? Не лучше ли – плюнуть на все и убраться куда-нибудь подальше, как можно далее от родных мест, где никто тебя не знает, где никто не ведаёт бедовых (а то и кровавых) дел, числящихся за тобой? А может статься, вообще, лучше покинуть Россию, бросить Родину – кому он здесь теперь нужен?

Тогда придется кормить вшей в лагерях Галлиполии, или стать лакеем в кофейнях Бухареста, ну, или просто мести тротуар в парижских предместьях... А вот и нет! Он не таков – подполковник Облов Михаил Петрович! Ему ли подстать быть серой неприхотливой мышкой, собирающей крохи со стола жизни? Как бы ни так, это исключено, по определению – такого не может быть!

На ум пришла сказка старой калмычки, рассказанная Пушкиным в «Капитанской дочке» – притча про орла и ворона. Как там было: «Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: „Нет, брат ворон, чем всю жизнь питаться падалью, лучше раз напиться живой крови, а там как Бог даст!“». Вот вам и весь сказ о Емельяне Пугачеве, по сути, он прямой антагонист Облову, а выводы из жизни они сделали одинаковые.

«Не буду и я ползать на брюхе! Пропадать..., так с музыкой!» – подумал Облов и, что есть сил, огрел коня плетью. Жеребец взвился на дыбы и птицей понесся по смерзшейся земле. Минут пять спустя, ни коня, ни всадника уже не было видно, только порывы ветра доносили еще цокот копыт, да слабый запах полыни.

Главка 4

Подворье Кузьмы Бородина, обнесенное глухим дощатым забором, полностью перекрытое почерневшим тесом, надежно укрыто от постороннего взора. Облов шагом подъехал к высоким, окованным железными полосами воротам, густо зашпатлеванным ядовито-зеленой краской, толкнул черенком плети створки, тщетно, пришлось спешиться. Подналег на широкие воротины, ни с места..., должно заложено изнутри брусом. Облов нетерпеливо забарабанил по толстым доскам, с умыслом рассчитанным заглушать, поглощать звуки от стука непрошенных гостей. Надсадно хрипло, выплевывая злобу, забрехал здоровенный кобелина, зазвенела, заклацала цепь, едва сдерживая неистового пса. Наконец, откуда-то из глубины двора донеслись уж вовсе корявые звуки старческой речи. Просмоленные никотиновым дегтем связки, яростно исторгали площадный мат – сразу и не сообразить, кого хозяин поливает руганью – преданного пса или неурочного посетителя.

Прогромыхав, отошел запорный брус, створки ворот скрипуче разъехались, в образовавшийся проем как бы украдкой выглянула мясисто-округлая, крепко слепленная голова. Черты лица, будто нарочно размытые природой, припорошенные соломенной щетиной на щеках, расплывались в лоснящемся месиве, словно взопревшее тесто. И только черные зрачки-буравчики, колюче поблескивали из-за белесых, по-пороссячи редких ресниц. Глазки изучающе уставились на Облова, мгновение пребыли в по-деревенски хитром анализе, затем маслянно увлажнились, покорно померкли. Растянув в улыбке щербатый рот, собрав у переносицы морщинки, хозяин подворья, а это был он, согнулась в полупоклоне, приглашая войти.

Михаил, не заставив себя долго упрашивать, но все же замешкался, втягивая за ограду почему-то упировавшегося коня. Тот упрямо не желал идти во двор, бил копытом, выгибая шею, тянул поводья на себя. Облову пришлось прикрикнуть на жеребца, грубо дернуть уздечку, животина упрямо замотала башкой, волнами расплескивая густую гриву. Облов почти силой

затолкал его в темное стойло. Конь косил большим карим глазом, надувал жилы на шее, тяжело и прерывисто сопел...

– Ишь ты?! Чего-то не по нраву, странно как-то... – подумал мельком Облов, направляясь к высокому крыльцу бородинского дома.

Гладкий, словно ситный хлебец, хозяин любезно зазвал в горницу. Облов давно знал фарисейскую натуру Кузьмы Бородина. Нравственным единственным мерилom этого человека прибывала собственная польза. Ради ничтожной выгоды, Бородин способен продать отца родного со всеми потрохами, а об остальных и говорить нечего, торговал собственным отношением к людям и в розницу, и оптом. Еще Облов-отец рассказывал Михаилу про продажного расторопного мужика Кузю, об его живоглотстве и омерзительной неразборчивости в средствах пополнения собственной кубышки.

Кузьма Михеич, как и его незабвенный младший братец, вышли из многочисленной семьи маломощного недужного крестьянина, промышлявшего подрядами к местным богатеям в конюхи или сторожа. Мальцом Кузя сполна хлебнул лиха, нянчил меньших братишек и сестричек, с весны до осени хаживал в подпасках, раза два его, бедняка, чуть не слопали голодные волки. Уже парнем он ишачил в батраках, чуть было не польстился на уговоры каких-то проходимцев, агитировавших в бурлаки... Так бы и помер Михеич в нищете и отрепьях, не подфарти ему удача. Улыбнулась она в лице засидевшейся в девках дочери сельского старосты – Улиты. Дева та считалась забубенной вековухой: суходылая и мосластая, как стебель кукурузы, с лицом плоским и шершавым, как подсолнух. Сбежишь не зная куда от такой крали, но Кузьма и сам не слишком казист, да и помыслы его с голодухи сводились, отнюдь, не к девичьим прелестям – парень возжаждал богатства.

Как уж он там подлез к этой кулацкой девственнице, никому не ведомо, но, как говорится, обрюхатил ее. Деваться некуда, тесть поставил Кузьму промышлять извозом. Бородин много был благодарен, освоился быстро, да и налаженный промысел еще лучше заспорился в его не чаявших настоящего дела руках. И дальше, удача не покинула Кузьму. Нежданно-негаданно отдал богу душу единственный брат Улиты Иван, спьяну на Троицу потонувший в мелководной окрестной речушке. Зажимистому тестю ничего не оставалось, как полностью приобщить шустрого зятя к своим делам. Тут и пошло-поехало у Кузьмы Михеича, оказалось, что не было в округе мужика сноровистей и оборотистей его. Тестево добро, словно по волшебству, умножаясь в руках Бородина. А вскоре, он и меньших братьев пристроил куда надо, к хорошим людям. Не будь революции, Кузьма Михеич со временем непременно бы пропищался в купцы, все шло к тому. И еще, одна незадача тяготила мужика: не заживались на белом свете их с Улитой дети, из семи человек – осталось лишь двое. Сын Филат – болезненный (в деда) тощий малый, все больше и больше склонный к выпивке, да длинноносая доча Пелегея, по всем статьям обреченная разделить участь обойденной ухажерами матери. Соседи знали, что Кузьма Михеич, после смерти тестя, жестоко истязал нелюбимую супругу, как она еще у него ноги таскает – одному Богу ведомо.

Облов ступил в жилую половину, аляписто убранную пестрыми занавесками и полосатыми половиками-дерюжками. Навстречу ему шмыгнуло высокое, узколицее создание, по-старушечьи повязанное пестрядевым платком, в стоящей колом черной юбке. Михаил сам озабоченный плотью, явственно уловил зазывно-тоскливый, изголодавшийся взгляд васильковых глаз. Ему еще ничего не успело прийти в голову, как Михеич обозвал дочь «лярвой, спящей под ногами» и даже замахнулся на нее. Облов заметил про себя: «Скоты и есть...».

Усадив гостя в красный угол, Бородин торопливо прошел в задние комнаты, оттуда донесся его приглушенный шепот. По отдельно долетевшим словам, Облов догадался, что хозяин отнюдь не рад ему, и находится в крайнем замешательстве: «Чего это принесло бандитского вожака?!». Михаил Петрович хорошо разумел: его присутствие ни кого не может пора-

довать, его нынешний удел вызывает у людей одно чувство, чувство страха за собственную участь.

Скрипнула дверь, в горницу шаркая, вошла супруга Бородина – цыганистого вида иссушенная старуха, она недобро поклонилась и протопала на кухню. Там она тотчас же негодуяще громко загремела посудой, ее лишенный плотских черт голос отдавал какие-то указания дочери. Девушка молча сносила раздраженный тон матери. Вот она опрометью выбежала в сенцы, украдкой стрельнув глазками на Облова, вскоре вернулась, придерживая в охапке обезглавленную курицу и еще какую-то припасенную снедь. Старуха мать тем временем шуровала на кухне, кляня плохо горевшую печь-голландку.

Приодевшийся в брюки и жилет, нарочито тишайший хозяин подсел к Михаилу, и ангельским голоском взялся выведывать последние новости. Гостю ничего не оставалось, как по душам разговориться с вкрадчивым стариком.

К вящему стыду Михеича, нужно сказать, что давнее знакомство с семьей Облова, даже в теперешние лихие времена, приносило ему не малый прок. Облов регулярно ссужал Бородину добытые по шальному деньги. Давал не то, чтобы в долг, и раздаривал не из щедрости душевной, а дабы прочнее привязать скаредного кулака к своему, прости Господи, стремному делу. Поначалу давались деньги, дальше больше – Кузьме стали поручать реализацию награбленного бандитами добра. Немало штук английского сукна и коробок со всякой галантерейной дрянью, немало овчинных шуб из-под Рассказова и сапог, стачанных в Елецких артелях, прошло через загребушие руки Кузьмы Михеича. Таким образом, пожалуй, нет в уезде человека столь сильно увязшего в темных делах Облова, да и человека – своего в доску.

Михаил Петровичу вовсе не претил жульнический характер Кузьмы Михеича, он не придавал существенной роли тем изъянам в душе Бородина, которые обостряли его скупость и корысть. Главное, что мужик полностью во власти Облова, и надумай он «соскочить», как тут же оказался бы раздавленным, подобно блохе. Михеич звериным инстинктом ощущал свое незавидное положение. Он откровенно боялся лютости Облова и его подручных, ставшей «притчей во языцех». Поэтому тактикой кулака было угодничество, лесть, раболепие, он стелился прахом в ногах своего господина.

Однако, сегодня внимательней приглядевшись к юркому мужичку, Облов отметил странную деталь. В поведении старика Бородина определенно что-то стронулось. За наигранным унижением проглядывала некая затаенная мысль, какой-то дух скользкого противоречия сквозил в речах Кузьмы Михеича, да и более самонадеянные жесты старика изобличали более хитрость, нежели страх. Вне всякого сомнения Бородин уже видел грядущие перемены, и для него не секрет, что Михаилу придется сматывать удочки. Масть подполковника Облова пошатнулась в глазах кулака. Пока что дед посапливает покорно и смиренно, но сам-то ждет не дождется, – когда же ты, Мишка-стервец, сгинешь к чертовой матери, канешь в лету, ослобонишь, наконец, его душу?!

Говорили о новой власти на местах и в губернии. Говорили о переменах, постепенно происходящих в деревне и городе. Само собой коснулись и провозглашенного большевиками НЭПа. Кузьма Бородин поначалу скромненько выдал затаенную надежду на новую экономическую политику, открывавшую ему-торгашу заманчивые перспективы, уже потому, что власть разрешает частное предпринимательство. Старик собирался возобновить былую коммерцию, он уже несколько раз наведывался в Козлов, советовался со знающими людьми, обсуждал новации с такими же, переждавшими напасти, кулаками и купчиками. Они, как и он с надеждой восприняли декларированные советами послабления. Их, правда, смущало всевластие фининспекторов и расширенные полномочия ГПУ, но, в большинстве своем, они склонялись к единой мысли – дело стоящее, нужно смелее пробовать...

Кузьма Михеич, не встретив со стороны Облова возражение по столь животрепещущей для него проблеме, пустился даже в политэкономические рассуждения. С его слов выходило,

что коммунисты уж не такие безмозглые дураки. Они прекрасно осознают, у кого находятся в руках рычаги подъема огромной страны из разрухи. У кого – да у тех, кто привык ворочать капиталом, у кого опыт торговли и хозяйствования, кто способен на коммерческие риски, ну и, естественно, жаждет прибыли. Большевики, по мнению Михеича, уже осмыслили свои былые ошибки, обираловка больше не повторится, их политическая цель по сути совпадает с задачей деловых людей – не пустить Россию и самих себя по миру.

– Вот они бросили клич нам?! То есть, трудовому, значит, народу.... Самому, что ни на есть народу! В ком сила-то России, а?! Сила-то в нас, – в купцах, в торговых людях, во мне – сельском хозяине! Мы ведь не только на себя одних работаем, вокруг нас многие люди питаются. Мы, если здраво головой подумать, мы, так все общество кормим. Да тут и нечего понимать? Мы и есть народ – раз всему корень! Так-то вот Михайла Петрович.... Они там, в Москве, да Питере правду-то, наконец, увидали. Нет, мол, Рассеюшке хода без крепкого хозяина, не сдвинуть возок-то.... На одних крикунах в кожанках, да на продразверстке далеко не уедешь. Нет товару – и все, амба! А откель он, товар-то? Кто его выдает?! Ясное дело – мы, на нас вся надежда, от нас всякая польза идет, всем, для всех польза! Теперь, видать кончилось времечко крикунов голопузых. Им только брюхо свое набить, да позевать во все горло на сборищах-митигах своих. На горле, ты, брат, ты мой – далеко не уедешь. Тут еще кое-что требуется!?

И Кузьма Михеевич, заковыристо, с намеком постучал указательным пальцем по своему круто выступающему лбу. Сытно икнул и деловито продолжил:

– Они нам, а мы им! Дай нам волю, не грабь, не обирай нас как негодный элемент, и мы пойдём навстречу. Ежели нас особливо не прижимать, да мы так развернемся, и-хо-хо (заржал по-лошадиному), как! Да коли меня не будут обижать, дык я, ей Богу, всю нашу волость один подыму, через пяток лет и не узнать будет. Я вон с Козловскими войду в такую компанию, да мы не то, что волость, уезд подвинем, будет как Гамбург – вольный город. Нам только палки в колеса не ставь, ну, а уж коли решатся помочь – ну там кредиту или еще как, пособить словом... Да мы тогда всей душой... Эх, ма...! Да мне только волю дай!

Облов не стерпел:

– Дурак ты, скажу тебе, Кузьма Михеич, и не лечишься! Обдерут вас комиссары как липку, выпустят последнюю кровцу вашему брату – кулаку. Разделают под орех, под ясень, да и выбросят, как у них говорят: «На свалку истории». Вот вы, казалось, бывалые мужики, а рассуждаете, словно малые дети. Неужели, коммунаки для того захватили власть, для того положили столько народу по всей России, чтобы все вернулось на старые круги, как было при царь-батюшке. Да не в жисть такого не будет! Отступить большевики не собираются, вот и насадили на всё и про всё свои поганые советы, комбеды, исполкомы всякие. Нет, уж эти ребята ничего не упустят...!

А что такое НЭП? Так это краснопузые хотят, поэксплуатировать вас за здорово живешь, короче, попользоваться вашей простотой. Ну, а цель, какая? Говоря простым языком, – хотят раны свои зализать. А вы, дурни безмозглые, и рады?! Посулили вам сладкий пряник, а про припасенный кнут-то вы и позабыли? Вот вложите, к примеру, капитал в большое дело, развернетесь там во всю прыть, закрутится, одним словом, махина. Но в одно прекрасное время, вас всех в одночасье и подгребут, подвергнут опять экспроприации. А коли артачитесь станете, соберут в одну кучу, да и отправят – куда Макар телят не гонял. Или того лучше – перебыют к чертям собачьим, чтобы и духа вашего, сквалыжного не осталось. Простофили пустоголовые! Эх, пороть вас некому было при царском режиме, а не банки-склянки всякие создавать, радетели херовы, не могли за Россию постоять, все выгоду свою соблюдали?! Ну, а теперь, да что сказать, – сами себе яму вырыли, недоумки. Вас дурачье пока жареный петух в жопу не клюнет, с места не сдвинешь..., – Облов брезгливо махнул рукой.

– Да уж ты больно-то не пужай, Михаил Петрович. Сам я вижу, не слепой, не маленький, как люди теперь в городе стали жить, не скажи – раздолье настает. А ты, опять за свое: «Куда Макар телят не гонял...».

– Ладно, Кузьма Михеич, нечего переливать из пустого в порожнее. Делай, как знаешь, только потом не плачься, что не знал. Попомни мои слова; настанет день и всё ваше куркулинское племя, как один, побредет по этапу: кто на Печору, кто в Сибирь, ну, а кто аж на Сахалин. Ты, пожалуйста, не подумай, что я треплюсь забавы ради. Пойми, кому как не мне знать норов большевиков, кому как мне знать их методы и уловки. Давненько я с ними воюю. Между прочим, читал я кое-что из сочинений их лидера Ульянова-Ленина, – заметив недоверчивый вид старика, уточнил. – Ты думаешь, вру? Вот те крест, читал и довольно внимательно, – и перекрестился. – Так вот, что хочу сказать, очень уж рассчитано их коммунистическое евангелие на лодырей и неучей, да и не учение оно вовсе, а мракобесие от Сатаны. – Увидав тупую мину на лице Михеича, Облов скомкал мысль. – А, впрочем, что с тобой говорить. Знай, не быть тому никогда, что лелеешь ты в своих розовых мечтах.

– Ну, и что ты предлагаешь делать Михаил Петрович? Значит, пусть другие пока наживаются, а я, по-твоему, должен сидеть и ждать у моря погоды? Ну, уж дудки! Мне чужого не надо, но и своего я не упущу, чай не лыком шиты!

– Эх, сермяжная ты душонка, Михеич, «не лыком шиты»..., – и горько усмехнулся. – Зря Александр второй отменил крепостное право, уж лучше бы «влекли ярем от барщины старинной», а то дали, понимаешь, рабам свободу?! Вот и пошло одно недоразумение. Нет чтобы – по всей стране подняться, да и раздавить совдепы? Нет, видишь ли, им жалко пузо растрясти, все норовят поболее его набить, хамы! Пороть всех! поголовно пороть! – Облов в неистовстве сжал кулаки и заматерился.

– Обижаешь, Михаил Петрович, или мы тебе не пособляли?! Подумай лучше, кем был бы ты и твои архары без нас, без крепких хлеборобов? Так – перекасти поле...

– Вот она – темнота наша сиволапая? Давай-ка, еще поучи меня? Сразу видно, что по мурцовке соскучился...

Они еще долго препирались, не желая вникнуть в доводы противной стороны. Оба покраснелись, с обоих градом лил пот, обоих до безобразия разобрало от мутного самогона и тяжелой наваристой пищи. Напуганные громким спором Бородинские женщины еле успевали обносить едоков новыми яствами, да подтирать украдкой пролитый на столешницу самогон.

Михаилу стало невмозможу спорить с упёртым стариком. Тот же, возомнив себя докой в экономике, стал навязчиво втолковывать гостю азы рыночного хозяйства. Облов резко оборвал ставший беспредметным разговор.

– Ладно, Михеич, надоело пустоту молоть, оставайся при своем мнении. Торгуй, воруй, только теперь нишкни и помолчи... – Облов задумчиво посмотрел на сникшего мужика, скосил глаз на дверь кухни, опасаясь ненужных свидетелей. Продолжил совсем тихо:

– Значится так, Кузьма Михеевич?! Видать, придется мне исчезнуть на некоторое время. Сам знаешь, загнали нас краснопузые в угол. И так..., из моих денег дай тысяч пять, остальные схорони получше... Скажу одно – те деньги, они как бы святые, для великого дела предназначены – для войны с Совдепией. Если, что не так..., с тебя строго спросится. Ты меня знаешь дед, уж я не спущу! – Облов пьяно пошатнулся. – Переведу все твоё семя, под корень вырежу! Понятно говорю? Коня оставляю тебе, корми, холи, я обязательно вернусь – когда будет надо. Понял старик?! – Облов грохнул кулаком по столу, посуда задрезбезджала, самогон из стаканов выплеснулся на скатерть.

– Да уж, как не понять Михаил Петрович, – подхалимисто заюлил Бородин. Он понимал, что игра в свободу мнений исчерпалась, но в тоже время его наполнила внезапная радость – наконец-то лиходей покидает родные места. Уходит, да еще оставляет его (Кузьму Бородина)

при огромных деньжищах. А уж там, как еще сложится, бабушка надвое сказывала? Глядишь, казна навеки останется у него одного. – Все понятненько, а денежки я сейчас, мигом принесу, – и Михеич на цыпочках вышел из горницы.

Облов откинулся на спинку стула, закурил. Явилась Пелагея со своим ангельски чистым, васильковым взором. Украдкой поглядывая на Облова, она стала убирать со стола. Михаил задумчиво смотрел на ее большие, рабочие руки, проворно управляющиеся с посудой, смотрел на ее большой нос и прикушенные губы. Девка ему совсем не нравилась, однако, как можно теплее он заговорил с девушкой.

– Пелагеюшка, покидаю я вас, уезжаю далеко, далеко! Свидимся ли когда? Ты в Бога сильно веруешь? – и на ее утвердительный кивок, он неловко схватил девушку за руку и страстно выговорил. – Пелагеюшка, я прошу тебя – молись за меня! Признаюсь тебе одной – некому за меня Господа молить, совсем некому. А так хотелось бы, чтобы чистая душа радела Христу за меня грешного. Ты выполнишь мою просьбу, Пелагея?!

– Да! – еле вымолвила девушка, вся зарделась, потупив взор.

– Спасибо родная! Ты знай, я не нехристь какой-нибудь, и верю я крепко, всегда верил. Ты слышишь – и я в Бога верую! Очень хорошо, коли станешь молиться за меня, тогда мне ничего не страшно, когда есть кто просит за тебя...

– Я стану! Я обязательно стану! – девушка взволнованно оживилась, даже похорошела. – Михаил Петрович, я каждый вечер буду за вас Христа молить, Богородицу, Николу, всех святых буду умолять! Ох, Михаил Петрович?! – она вся задрожала, как-то поджалась, видимо хотела сказать еще что-то важное, но тут загредел у входа отец, девушка шустро сграбастала посуду в фартук и опрометью выбежала из комнаты.

– Почему она так расчувствовалась? – успел лишь вскользь подумать Облов.

Он взял протянутые Бородиным деньги без счета, тут уж он был уверен в Михеиче. Спрятав толстую пачку кредиток в специально пришитый внутри френча карман, Михаил велел принести конопляного мосла, оружие следовало привести в порядок.

Наконец, уединившись в отведенной ему чистой спальне, скинув верхнюю одежду, оставшись в одном белье, он вдруг поддался точившему его изнутри соблазну. Да и не соблазну вовсе, а настоящей душевной потребности, влекущей давно и постоянно. Михаил все отмахивался от неё, считая сентиментальной слабостью, но вот она пересилила его.

Михаил опустил на колени, обратил голову к небольшой иконке Богородицы, еле освещенной едва теплившейся лампадкой и начал неистово креститься. Он вершил моление не из-за страха за собственную жизнь или дело, которому служил, он благоговел не из-за восплавленного религиозного чувства. Нет! Но он испытывал острую потребность в светлом начале. Его душа давно жаждало вылиться в исповедальном сладкозвучии, она хотела наполниться горного трепета и благой чистоты. Михаил прочел «Отче наш», «Верую», затем стал шептать по памяти другие, приходившие в голову молитвы, уже изрядно позабытые. Он ловил себя на том, что перевирает их строфы, но и это было простительно. Он молился, и давно его сердце так не ликовало, давно такие простые и ясные мысли не освежили ему голову. Он ничего не просил у Божьей Матери и младенца Христа, ему ничего не было нужно. Он, просто, славословил Господа и его Мать, и это было великой отрадой для его изболевшейся души и истосковавшегося сердца.

Выговорившись святости вдосталь, он подобно ангельскому младенцу, впрыгнул в постель. Сладко потянулся и безмятежно уснул, будто и не было за его плечами сорока с лишним лет. Будто не числилось за ним несть числа разграбленных обозов с хлебом, пожженных изб, десятков загубленных жизней. Облов спал, словно невинный мальчик с девственно чистыми помыслами, нетронутой соблазнами мира душой. Сон его был сладок.

Темной ночью старик Бородин таинственно вызвал своего сына Филата на задний двор. Филат, иссушенный толи лихоманкой, толи беспробудным пьянством парень, весь вечер сур-

ком просидел в своем углу, так и не получив разрешения отца выйти к гостю. Он по-своему рассудил, что оно так и лучше будет: зря не лезть в глаза Облову, не то, еще пошлет куда гонцом, или того хлеще – прикажет себя сопровождать.

Кузьма Михеич что-то слишком обстоятельно взялся втолковывать малому, тот согласно кивал чубатой головой. Но когда дело дошло до прямого ответа на вопрос отца, Филат никак не мог решиться, сказать утвердительно. Парень испуганно жался, трусливо переступал с ноги на ногу. Кузьма Михеевич психовал, однако, сдерживал гнев, орать на олуха-сына было не с руки. Старик опять мягким, вкрадчивым голосом взялся втолковывать парню явно недобрую мысль. Филат зябко ежился, неуверенно мялся, но все же подчинился воле отца. Довольный старик задорно похлопал сына по плечу. Озираясь по сторонам, словно заговорщики, они покинули гумно. Пока они шли по двору, прислушиваясь к каждому шороху и скрипу, приглядываясь к любому всполоху света – серая тень, кошкой шмыгнула в заднюю дверь бородинского дома, беззвучно прикрыв створку за собой.

Отец и сын, очутившись в тепле, осторожно разулись, и на цыпочках подошли к комнатке, где вольготно почивал Облов. Навострив уши, чадо и родитель напряженно внимали прерывистому храпу, исходящему из спальни. Потом старик мелко-мелко закрестился, сын же оторопело почесал в затылке, пугливо озираясь на перетрусившего батьку. Так ничего не предприняв, он разошлись по своим углам, ступая на пальчиках, растопырив по незрячему свои руки.

Вскоре дом Кузьмы Бородин погрузился в кромешную тьму. Не угомонился лишь жеребец Облова. Он часто взбрыкивал, стучал копытом о дощатую переборку, грыз доски стойла... Но пришло время, затих и он.

Спит большое торговое село Рождественно. Неслышно струит свои воды обмелевшая речушка, ласково омывая покатые песчаные берега. Желтый месяц, еле пробиваясь сквозь мелко рваные тучи, скупно освещает водную гладь. Тишина. Лишь совсем изредка прорежет немоту природы одиночные гудок далекого паровоза – и опять все уснет, затихнет, растворится в ночи.

Главка 5

Новый день вошел, как застенчивый странник, скромно потупив взор ясных очей, осторожно переступая порог, робким скрипом возвестил о себе. Жиденький рассвет блеклыми полутонами заиграл на мелованных стенах бородинского жилища, хилые лучики, отыскав-таки лазейку, проникли в горенку Облова. Михаил Петрович очнулся ото сна, все тело поломано ныло, однако голова была чиста как в первый день творенья, никаких задних мыслей, никаких мнительных догадок, никакой гнетущей ущербности. Приструнив ленивую плоть, Облов резво выпрыгнул из постели, пружиняще взмахнул руками, имитируя утреннюю гимнастику. Он чувствовал, как в мышцы током вливается заряд бодрости, он ощущал себя молодым, сильным.

Выйдя во двор, он полными легкими вдохнул свежий, пьянящий воздух, настоящий на запахах деревенской жизни: тут и парное молоко, тут и горькое амбре навоза, дух уже увядших лугов и полей. Как хорошо в деревне, хорошо в любой период года, в каждом сезоне своя неповторимая прелесть. Поздняя осень, какие ассоциации рождались в душе для этой поры в старое, доброе время? Прежде всего, представлялся внутренний покой (урожай собран, дрова заготовлены) и прочная, размеренная жизнь запасливого хозяина, твердо стоящего на ногах, надеющегося лишь на себя самого, отсюда следовала уверенность в незыблемости домашних устоев, ну и, разумеется, ожидание грядущей зимы.

Облов оглядел надворные постройки: все из кондового леса, все надежно подогнано, вымерено, крепко сбито на века. Михаилу претила босяцкая ненависть к обстоятельным людям, но вид усадьбы Бородина, родил у него нехорошее чувство, почему-то похожее на нена-

висть. Да и как сказать, жируют сволочи, когда наш брат бездомно в холоде и голоде несет бремя борьбы, проливает кровь, пытаясь отстоять извечный круг вещей, кладет молодую жизнь, ради сытого бытия таких вот жлобов.

Проведав коня, убедившись в добром уходе за ним, Михаил Петрович порядком иззябнув, направился в дом. Проходя мимо овечьей кошары, он невольно замедлил шаг, пропуская поперед себя, бегущую с пустыми ведрами Пелагею. Девушка в затертом бараньем тулупчике, в большущих валенках с задками, обшитыми кожей, в пушистом пуховом платке, вся раскрасневшаяся с морозца и от хлопот по хозяйству, показалась Михаилу гораздо привлекательней, чем вчера. Он с нескрываем интересом поглядывал на Пелагею, пробуждая в памяти какой-то неясный отклик, идущий из глубин его прошлой жизни.

Поравнявшись с ним, хозяйская дочка робко остановилась, Михаил искренне пожелал ей доброго утра. И преодолевая, почему возникшую молчаливую напряженность, заговорил о какой-то незначительной ерунде, толи о погоде, толи о домашних заботах. Но чрезмерно серьезная мина на лице Пелагеи, остановил его словесные излияния. Девушка, чуть запинаясь, из-за неловкости в общении с мужчиной, торопливо выговорила:

– Михаил Петрович мне нужно вам кое-что сказать?! Сказать о важном для вас! Сказать по секрету. Пойдемте в кошару!

Облов несколько удивился, но последовал за девушкой. Совсем некстати колыхнулась пошленькая мыслишка: «Не в любви ли ко мне станет она изъясняться?»

Ступив под соломенные своды загона, оглядевшись в заиндевелом полумраке, он приблизился к Пелагее, выжидающе стоящей у входа. Девушка молчала. Ее широко распахнутые глаза, из васильковых ставшие иссиня черными, не мигая, стеклянным взором уставились на него. Облов почему-то смутился, преодолев неловкое замешательство, тихо, но то же время настойчиво спросил:

– Пелагеюшка, зачем ты позвала меня, что хочешь сказать мне?

По телу девушки пробежала легкая судорога, девушка вся сжалась в упругий комочек, на лице четче проступили скулы, она перевела дыхание:

– Михаил Петрович, не знаю, как и сказать-то вам? – Пелагея вся напряглась, губы ее подрагивали в лихорадке, – Михаил Петрович, отец хочет вас выдать властям. Он Филату велел заявить о вас на станции. Филатка не решался, но батяня его заставили. Он хочет, чтобы вас скорей поймали, а вся казна досталась ему одному. Он говорил брату, что вас не помилуют, обязательно поставят к стенке! Отец хочет, чтобы вас убили!

– Вымолвив все на одном дыхании, Пелагея, испуганно скрестила руки на груди, сжав пальцами свое горло и подбородок, робко поглядывала в сторону Облова.

Михаил все понял. Он подошел к девушке, положил ей на плечи руки, пристально всмотрелся в ее нерадостные глаза, стараясь как можно подробней запомнить личико Пелагеи, ее внезапно открывшуюся девичью прелесть. Так они стояли, словно загипнотизированные, пока трубный гудок паровоза не вывел их из оцепенения. Они оба вздрогнули, разом ощутив непреодолимый водораздел меж собой. Михаил, обведя языком пересохшие губы, запинаясь, выговорил:

– Спасибо тебе Пелагеюшка, спасибо родненькая. Век буду помнить... – потом, склонив голову, поцеловал девушку в лобик, коснулся нежной кожицы бесстрастным, отеческим поцелуем, быстро повернулся и вышел прочь.

В его сердце не было зла ни на Кузьму Бородин, а уж тем паче на дурня Филатку. Михаил Петрович прекрасно понимал, что рано или поздно его обязательно сдадут властям, свои же продадут. Такова участь всех незадачливых повстанческих вождей, тех же Разина, Пугачева, связанных, выдало на смертную муку их ближайшее окружение. Ну, а касательно его, Михаила Облова, неважно кто сподобится на столь мерзкое дело – Кузьма ли Бородин, Седых ли Денис или еще какой-нибудь из бывших прихлебателей. Важно одно, в их глазах – подполковник

Облов обречен. И от этого никуда не деться, развязка неминуема и печальна. И пусть сегодня подвезло, что он благодаря наивной и чистой дочке изменника, проник в происки доморощенных заговорщиков. Пусть сейчас он решительно пресечет их подлый замысел, но когда-нибудь, уже не окажется рядом по уши влюбленной в тебя девочки, и тогда, его просто возьмут сонного, с постели. В одном исподнем.

Неужто подступил каюк, говоря по-восточному?! Неужели ничего больше не осталось в жизни, разве нет никакого выхода? А, что!? Вот, взять Пелагею с собой, да податься куда-нибудь подальше. Зарыться в самую, что ни на есть глухомань, и жить, зажить простой человеческой жизнью. Народить детишек, стать таким же как все, раствориться среди простых людей. Выход ли это для него – Облова? Да нет, конечно. От себя не уйти. Да и не сможет он опроститься, не сумет носить личину тупого обывателя. Он, столько лет, высокомерно презиравший простолюдинов, считавший себя аристократом духа, теперь, вдруг, возьмет, да и содеется ничтожеством, уподобится праху земному?!

Разумеется, нет! Ему уготована иная дорога, ему суждена иная, пусть даже ужасная участь, но он уже не свернет с раз выбранного пути, останется прежним Обловым. В том его тяжкий крест, его судьба, которую не выбирают, как дамское белье. А уж коли так, то и совершенно не к чему переменять прочно сросшуюся с его образом роль грозного атамана, безжалостного судии холуйской покорности новым властителям, ему давно привычно олицетворять собой жестокую кару, неотвратимую и потому по-божески справедливую. «Не мир я принес вам, но меч!» – вспомнив эту суровую сентенцию, Облов твердо ступил на высокий порог.

Кузьма Михеич уже подждал Облова, двинулся навстречу ему с лицемерной улыбкой, справился о самочувствии, попутно посетовав на дрянную погоду. Михаил не стал подыгрывать лицемерному хозяину, но и карт своих не открыл. Сотворив весьма глубокомысленный и озабоченный вид, он велел Бородину принести всю имеющуюся у того наличностью. Объявив закономерную цель – необходимость выверки имеющихся денежных средств, ради грядущих расходов на общее дело. Старый лис, Кузьма, по началу каверзно заартачился, мол, чего считать червонцы, и так, все как в аптеке, зачем попусту утруждать себя, тратить лишнее время. Но Облов не потерпел возражений. Бородин, своим посконным крестьянским умом, что-то заподозрил, нерешительно затоптался на месте. Облов настойчиво прикрикнул на него, исподволь наблюдая за повадкой кулацкой бестии. Присмиривший для виду старик уж слишком ошалело метнулся по дому, что-то шепнул, появившемуся в дверях сыну. Филат тоже засуетился, то и дело боязливо озираясь в сторону Облова, его запуганный вид с потрохами выдавал их с отцом злой умысел. «Ага, запахло жареным, паскуды!» – отметил про себя Облов. Стало даже забавно, на что могут надеяться старик и его выродок, что они предпримут – глухую оборону или нападение?!

Но вот Кузьма Михеич выложил на стол брезентовую переметную суму, вещь с боевой давней историей. Она досталась отряду Михаила во время отчаянного налета на обоз продотрядников, комиссары хранили в ней свою обширную бухгалтерию. Теперь раздутая укладка напичкана по тому времени огромной казной. В ней и золотые империялы царской чеканки, и советские дензнаки, есть отсек с иностранной валютой, есть внутренние карманы с драгоценной бабьей мишурой, а в потайном кармашке на самом дне, спрятана даже архиерейская панагия, усыпанная бриллиантами.

Михаил подвинул брезентовый мешок к углу стола, велел старику Бородину садиться, кликнул замешкавшегося Филата.. Старик бережно, словно курица-наседка, опустил на свой стул, вперив преданный взор в Облова, но тот сохранял непроницаемое выражение лица, отгадать его умысел было невозможно. Тяжело сопя, протиснулся к столу Филат. Михаил молча указал ему на место рядом с отцом. Бородины вопросительно переглянулись, уселись как на поминках, сложив руки на коленях. Облов видел, что они корчат из себя святую простоту. Ах, подлецы, ети их мать?!

– Кузьма Михеич, – Облов, иезуитски сощурился глазами, удавив взглядом вперился на старшего Бородин, – может, покаешься старый хрен? Бог-то он все видит!

Бородин испуганно встрепенулся, но это была лишь сиюминутная слабость с его стороны, он тотчас взял себя в руки, сотворив благостное выражение физиономии, запричитал медовый голосом:

– Не пойму я, чего изволите Михаил Петрович? Я ведь исполнил ваш приказ, все туточки! Можете проверить, ничегошеньки не потаил – все здесь, копеечка к копеечке... – старик протянул подрагивающие руки к тесьме сумы.

– Оставь чужое в покое Михеич. Странно как-то ручонки у тебя дрожат? Может чего боишься, а Кузьма, так поделись со мной, открой душу-то? – и, поняв, что Михеич не прекратит валять Ваньку, уже властно, с металлом в голосе произнес. – Отвечай старик, когда с тобой Облов говорит, – но видя упорство, уже не выдержал, и стукнул кулаком по столу. – Что сука, мало я тебе добра передавал, мало ты, гадина, потырил у отряда, захотел все хапнуть? Ну, падла, не молчи, отвечай!

– Грех Вам, Михаил Петрович так-то шутить над старым человеком. Я ли Вам, батюшка, не служил, как преданный пес, я ли вам не угождал?

– Я давно знаю, что ты Кузьма не пес, ты собака продажная! – Облов отодвинулся от стола вместе со стулом, откинулся на спинку, положил ногу на ногу. – Я давно за тобой приметил, возжаждал ты, сволочь, свободы. – Облов смачно сплюнул на пол. – Меня захотел краснопузым сдать?! А себе, значит, наш общак присвоить?!

– Михаил Петрович, побойся Бога! Такие слова, такую хулу на меня безвинного возводишь?! Да я ни одной мыслишкой, ни одним словом против тебя не шел. Вот и Филатка подтвердит... Правильно я говоря, а Филат?

Парень сидел остолбенев, словно набрав в рот воды от страха. Бородин в отчаянье безнадежно махнул на него рукой, мол, что с дурака возьмешь.

– Михаил Петрович, да вы какой-то поклев на меня возводите? А может у вас, с похмелья настроенья-то нет? Так, давай сейчас, сядем рядком, хряпнем нашего, домашнего изготовления и все ваши подозренья, как дурной сон улечутся. Да где это видано, чтобы я своего благодетеля подводил?! Да я с вашим батюшкой, царствие ему небесное, еще дружбу-то водил, неужто забыли, Михийла Петрович?

– Я ничего не забыл Кузьма, все помню, и вот поэтому я тебя, змей ты изворотливый, ни за что не прошу! – Ослов быстро встал на ноги, заметил затейливое движение локтей старика. – А, ну – руки на сто! Кому говорю, на стол руки! Ты что там пес прячешь! – Михаил перегнувшись через стол, рванул борт стариковского полукафтаны.

На столешницу, возле сумы лег, поблескивая вороненой сталью, наган. Старик Бородин пытался что-то сказать, но спазм перехватил его горло, старикашка только паралитически задергал ручонками, его лицо побурело, глаза повылазили из орбит.

– Ну, ты и скоморох, Кузьма Мтихеич! Не устраивай цирка, я тебя как облупленного знаю! Ты думал меня, меня подполковника Облова так дешево взять? Ну, скажем, ладно, запродать, куда еще ни шло, но вот взять меня на мушку?! Ты, видно, охренел совсем? И ты мог бы в меня стрелнуть, а Кузьма?! – Облов деланно засмеялся, затем, повернувшись к Филату, произнес презрительно. – А ты, паря, почто сидишь, вынимай свою пистолю. Ну?!

Филат безоговорочно выложил свой наган, положил и по-собачьи преданно уставился на Облова.

Ну, что мне с вами делать-то прикажите, гавнюки вы такие? В расход нешто пустить? – и завел руку под френч.

Отец и сын разом бухнулись на колени, сложив молитвенно руки, возопили плаксивыми голосами:

– Не погуби Михаил Петрович, пощади нас Христа ради! – Филат тот зарыдал по-бабьи, старик-отец взялся слезливо оправдываться:

– Михайла Петрович прости ты меня дурака старого. Все жадность окаянная?! Да и не хочу я вовсе твоей гибели. Это какая-то чертовщина, правду скажу – чертово наущение. Да, что же за напасть-то такая со мной приключилась?! Михайла Петрович, не погуби Христом молю, забери все мое добро, мигом распродам, забери на общее дело – только пощади, зачем тебе лишать нас жизнью? Помилуй нас – век за тебя молиться станем. А то, хочешь Михайла Петрович, так выпори меня старого осла. Сам на лавку лягу, сам удары считать стану. Лупцуй сколь душе твоей угодно – только не убивай! Был, был грех, сознаю Михайла Петрович, бес попутал... Всю жизнь – деньги, одни деньги на уме, как тут уму за разум не зайти?! Но, как на духу говорю – не ведал сам, истинно не ведал, что творил. Прости, ты меня, ради родителя твоего, Петра Семеновича – благодетеля моего, прости! – Разгоряченный дедок бросился к ногам Облова, и, что уж вообще было дико, шустро облобызал его сапоги.

Сама эта театральная сцена мало тронула зачерствевшую душу Облова. Он прекрасно понимал – старик готов жрать дерьмо, лишь бы остаться целым, не жалко и Филата, через таких вот остолопов Россия пошла по ветру, через таких вот слизняков сломалась жизнь самого Облова. Но не в самом же деле порешить этих ничтожных людишек, мараť о них руки – было бы неуважением к самому себе. Не палач же он в самом-то деле, да и казну оставить не на кого?! Этот довод оказался решающим.

– Ладно, Кузьма – я извиняю тебя, встань с пола, успокойся.

Кузьма Михеевич всхлипывая, словно выпоротая девка, поднялся на ноги, утирая рукавом обильные слезы, он лепетал слова благодарности и признания. Велел также и Филату приложиться к ручке благодетеля. Облов, негодуя отдернув кисть от слюнявых губ малого, прикрикнул на суетившихся Бородиных: «Совсем сдурели олухи царя небесного?!». Приказал им успокоиться и внимательно выслушать его. Отец с сыном с радостью подчинились.

– Хорошо, Михеич, кто старое помянет – тому глаз вон! Понимаю и прощаю твое заблуждение, Бог милосерд. Все остается по-прежнему. Ты, как зеницу ока, до первого моего требования хранишь казну. Приду – или я, или кто-то из моих ребят. Вот тебе пароль...

Облов сунул руку в саквояж, поворотив там вслепую, выхватил новенький червонец. Небрежно наискось разорвал его на две половинки, один клочок протянул старику, другой спрятал в накладной карман френча. Бородин, понимающе склонил голову, не требуя дополнительных пояснений, должно этот прием давно использовался промеж них. Затем, Облов, секунду подумав, высыпал содержимое сумы на столешницу. Отодвигая бумажные купюры и монеты в сторону, он стал выискивать драгоценные вещи. Первым делом отыскал панагию, любясь, с минуту разглядывал это чудо ювелирного искусства, даже восторженно покачал головой, причмокнув языком. Потом стал быстро откладывать перстни, серьги, броши с камнями-самоцветами. Особо ценных вещей оказалось не так уж много, но все же они составили вполне увесистую кучку. Облов пересыпал их в кيسет, помедлив, положил туда же и панагию.

– Так вот, Кузьма Михеевич, камушки-то я заберу, – хотел, было добавить, – все надежней будет, – но сдержался. – На них там, куда еду много охотников найдется, для дела оно сподручней. – Посмотрев внимательно на Филата, добавил. – Парень твой пойдет со мной, проводит сколько нужно. Ты, дед, не переживай за него, принуждать к уголовщине не стану, просто нужен верный человек. Мне на станции светиться никак нельзя, – и уже совсем миролюбиво закончил. – Вели собирать на стол, да поскорее, засиживаться больше некуда...

Старая Улита и молодая Пелагея быстро сварганили завтрак. Облов старался не смотреть на Пелагею, но помимо его воли, взоры их то и дело перекрещивались. Михаил улавливал признательные флюиды девушки, ответить ей тем же по понятной причине он не мог, стараясь укрыть от прозорливого старика тайну, что связывала их. Девушка-доносчица осознавала, что Облов пощадил ее близких, и возможно, строила наивные девичьи предположения, отыски-

вая причину подобной сентиментальности беспощадного Облова. Ну, и пусть с ней – теперь гадают...

Уже окончательно собравшись в дорогу, покидая дом Бородиных, Михаил задержал свой взгляд на девушке, улыбнулся ей краешком губ и слегка кивнул головой, мол, не вешай девка носа, все образуется. Она, покраснев, тоже незаметно кивнула ему, в ее васильковые глаза накатили слезинки, в невинных очах Пелагеи застыл немой вопрос: «Ждать ли мне тебя? Вернешься ли ты мой любимый?». Облов, широко перекрестившись, ступил за порог...

Уже во дворе старик Бородин, было, засобирался проводить Облова, но тот остановил деда, прервав последние излияния Михеича в преданности. Оборвал почти грубо, мол, седи седой хрен на печи, надоел и так...

Всю дорогу до станции Филат шел след в след Облову. Парень, понимая свою задачу, не обращал на себя внимания, лишь изредка односложно отвечал на скупые вопросы атамана. Малый, конечно, переживал историю, в которую втравил его родной отец, и по-своему оставался благодарен Облову, что не взял грех на душу. Ну, а то, что их малость пострашали, так сами виноваты?! Купив билеты на проходящий литер, он еще долго хвостом таскался за Обловым по всяким закоулкам, пока не было сказано возвращаться домой.

Главка 6

Прошли сутки с лишком. Михаил Петрович Облов, одетый в цивильное суконное пальто с каракулевым воротником, в такой же каракулевой шапке пирожком, устроился на отполированной бесчисленными задами скамье бревенчатого вокзала станции Ливны. У его ног стоял аккуратный черный саквояж, наподобие тех, с которыми и по сей день ходят по вызовам бывшие земские доктора. На коленях же Михаила лежал крохотный узелок, увязанный в белый носовой платок. По своему обличью Облов походил на учителя гимназии или новоявленного мануфактурщика средней руки. Михаил Петрович ждал вечернего поезда на Харьков, поэтому сидел смиренно, тихонечко, предупредительно поджимал ноги, когда кто-то проходил по междурядью.

Он уже пригрелся в битком набитом зале ожидания, и с лукавой ленцой наблюдал неприятельные вокзальные сценки. То, укутанная в жесткие дерюги, баба ругается с подвыпившим расхристанным мужиком. То накрашенная кокотка с лакированным ридикюлем, явно из бывших, презрительно воротит носик от кислой овчины, грузно усевшегося рядом мешочника. То пробежит, задирая окружающих, пестро выряженная кодла беспризорников. То слепой кротко простучит своим бадиком, или нищенка заунывно затянет Лазаря. И все куда-то едут, едут, едут...

Устав быть зрителем бесплатного театра, Облов отрешенно задумался о недавнем и наболевшем. В голову лезли сумбурные воспоминания, хаотичные мысли перескакивали с пятое на десятое. Вдруг, он ощутил чей-то пристальный взгляд. Не выдержав его упорной настойчивости, Михаил поднял голову, разыскивая любопытного наглеца. В начале прохода меж рядами скамей стояла пигалица-девочка лет пяти, в облезлом, не по размеру долгополом пальтеце, по груди крест-накрест перевязанная грубым шерстяным платом. Такой плотный коричневый платок-плед, причем неизменно колючий, был и у его няни, как бы, между прочим, отметил Михаил. Сцепив маленькие розовые пальчики внизу живота, кроха заворожено уставилась на Облова. Почему-то смутившись, Михаил улыбнулся ей, даже приветливо сморщил нос. Однако завязать разговор с ребенком, стоящим в отдалении он не мог, да и не умел по жизни подлаживаться под детскую непосредственность. Девочка оглянулась, верно, отыскивая в толпе свою мать и не найдя, уж совсем близко подошла к Облову. Михаил нерешительно ждал, что же будет происходить дальше. Совсем осмелев, девчушка ткнулась грудкой в его колени и тихо прошептала:

– Дядечка, я кушать хочу?!

Облов смутился от такого напора, но быстро справился с замешательством:

– Сейчас, деточка, сейчас. А, ну-ка поглядим, что у нас в узелочке-то лежит, – и он развязал свою укладку. Там были плотно спрессованные бутерброды с домашним салом.

Михаил протянул бутерброд ребенку, девочка жадно впилась в ломоть махонькими, беленькими зубками. Михаил же, сам не зная почему, отважился взять девочку на колени, и стал умиленно наблюдать, как она за обе щеки уплетает его, заготовленный впрок, ужин.

И все бы хорошо, но его насторожил внезапно, неизвестно откуда взявшийся красноармейский патруль. Проходя мимо рядов, один из патрульных, пожилой вислоусый солдат, смерил Облова долгим, изучающим взглядом. Михаилу стало не по себе, он отвернулся. Сдерживая волнение, он участливо спросил у девчушки – где ее мамка. Та смешно с картавинкой пролепетала: «Мамоцка в оцеледи за билетами». Облов оглянулся на патрульных, уже вся троица упорно разглядывала его. И тут Михаил узнал в «вислоусом» – встречавшегося на его пути чекиста из Козлова.

– Погорел, как швед под Полтавой, – сработал неподволивший инстинкт, – нужно немедля уходить.

Облов поспешно встал, приткнул малышку на свое место, сунул ей узелок с бутербродами, сказал скороговоркой:

– Девочка, будь умницей, не ешь все, отдай мамочке, она тоже кушать хочет, – схватил саквояж и направился к проходу.

Тут, один из красноармейцев закричал:

– Гражданин, а гражданин?! Эй ты, шляпа-пирожок, обожди малость – дело есть до тебя!

Облов шел не оглядываясь, словно и не ему шумели.

– Ты, мудака в пальто! Тебе говорят, стой!

Облов не выдержал и побежал к выходу из вокала, помчался расталкивая незадачливых пассажиров, перепрыгивая через распростертые в проходах тела, порой наступал на них, вдавливая кованые каблуки в податливую плоть.

Вслед ему неслось:

Стой контра! Стой тебе говорят! Стой, стрелять будем!

Михаил знал, что на вокзале, прилюдно – стрелять не отважатся, уж слишком велик риск зацепить вовсе непричастных лиц. И тут, наметанным боковым зрением он усек, что наперерез ему метнулось двое парней в опоясанных португеей ватниках.

Ну, подыхать..., так с музыкой! – взыграла в нем лихая натура.

Облов, на ходу рванул ворот пальто, выхватил наган и, не целясь, всадил пулю в ближнего из парней. Тот споткнулся, широко раскидывая руки. Облов выстрелил в другого, выскочил на перрон, метнулся к стоящим на станции товарным вагонам, лихо впрыгнул на тормозную площадку. Вслед ему раздались одиночные винтовочные выстрелы. Он уже успел заметить, как с двух сторон перрона бежали вооруженные люди. Отстреливаясь, подлезая под вагонами, Облов даже не заметил как посеял свой рундук. Михаил гнал, что есть мочи, но и преследователи не отставали. Беглец стрелял, стрелял.... Пули закончились. Он перемахнул через станционный заборчик, вбежал в узкий, заваленный шпалами складской переулок, огляделся – кажется ушел.

Но, тут опять раздались хлесткие выстрелы. Облову ничего не осталось, как броситься напропалую вперед. Бежал он нескончаемо долго, вконец запыхавшись, он остановился на берегу реки. «Кажется, ее зовут Сосна», – мелькнуло в памяти Михаила, он прислушался – тихо. Осторожно перешел шаткие мостки, вглядываясь во внезапно подступившую темноту, вышел на тропку и пошел напрямик.

Так он брел часа два. Полностью обессилив, присел на смерзшуюся кочку, сидел, ни о чём не думая, только дышал, широко, жадно глотал морозный воздух.

Вдруг, ночную тьму прорезал леденящий душу вой. Его звук нарастал, заполняя собой все пространство округ, заставлял вибрировать воздух. Во всем мире остался только этот ужасный, первобытный вой.

Волки?! – Ожгла, блеснувшая молнией, догадка. – Волки!

Облов выхватил наган из кармана, бешено закрутил барабан.

– Так и есть, ни одного патрона?! Даже себе!? Все расстрелял....

Он медленно поднялся на ватных ногах, взгляделся в кромешную темень...

Протяжный, волчий вой неукротимо приближался. Вот он пресекался, озарив надеждой, но ненадолго. И вновь заколодил все вокруг, леденя кровь, с невероятной, неодолимо мощной силой. Облов вонзил глаза в черный зенит, – ни луны, ни звезд...

– Как же так?!

Сырой ветер дряблыми пальцами ударял по щекам, кудлатил виски, стискивал ноздри избытком колкой свежести, щипал за уши. Облов, как-то отрешенно, взглядом со стороны, очнулся от ужаса, пропитавшего ум и душу. Естество живого человека упрямо отторгало мысль о жутком конце. Михаил неожиданно застиг свой мозг негодующим на пронзительную изморось, Облов опять отстраненно воспринял коробящее раздражение своей плоти на эту осеннюю хлябь, на не уют природы.

– Господи?! О чем я?! Какая ерунда...

Тянувший жилы, вой волков лишь на мгновенье вынудил его встрепенуться. Разум вовсе не хотел воспринимать сам факт о близящейся развязке, в голове опять вертелись соображения в другом, ином от ужаса измерении. Забубенно пульсировала мысль о потерянном саквояже, было жалко сухих шерстяных носков, чистой пары белья и прочей дешевой мелочи.

– Боже?! О чем все я? Неужто я такой олух царя небесного? Да, и при чем тут олух или не олух? Все, мне крышка! – Он насильно пытался внедрить в себя признание этого факта, но его натура подсознательно противилась, не поддавалась, сомневалась, на что-то еще надеялась. – Неужели кончено? Не может быть, еще не все.... Нужно, что-то предпринять, что-то срочно придумать, существенное, кардинально меняющее ситуацию. Как поступить?!

Он торопливо стал озираться вокруг. Реальной, вещественной надежды на спасенье абсолютно ни просматривалось. Но все же, внутри его самой потаенной, сокровенной сущности мелко вибрировал росточек жизни – пронесет, пронесет, обязательно пронесет...

Темень поглотила окрестный мир. Куда идти, куда бежать? Хоть бы стог или дерево какое, ну хотя бы коряга, дреколье какое-нибудь? Крутом голая смерзшаяся земля, стерня и кочки. Даже обломка кирпича, камушка нет, ни то, что увесистого булыжника, ничего могущего защитить нет под ногами – чем обороняться, ни голыми же руками?!

Но потаенная надежда на «пронесет» не покидала его. Наоборот, тоненькой, тонюсенькой, но все же струйкой прибывало чувство уверенности в себе. Весь смысл бытия как бы напрягся на предчувствии удачи, и состояние это ширилось, набирало силу, понуждало, требовало активного действия.

Михаил решил затаиться, возможно, волки пройдут мимо. Как знать, донес ли порывистый ветер запах человеческой плоти до их кровожадного обоняния? Как знать, что у хищников на уме? Ведь не всегда волки одолены неукротимой похотью сожрать кого-либо, определенно, и у них есть иные, не понятные человеку, потребности, а может статься, даже некие задачи, отличные от прозаического прокорма?

Ну, а уж если нет?! Тогда остается последний шанс – превратиться самому в дикого зверя, затаившегося среди опустелых полей! Самому, первому броситься на волков, разъяренно наброситься, издавая хищный первобытный рык, низвергнуться плотоядно, изображая крайнюю, необузданную степень кровожадности. Самому стать хищным монстром, именно стать, до дрожи в пальцах возжаждать крови. И тогда, о Боже, сделай именно так, быть может,

волки дрогнут, побегут, нарвавшись на засаду более матерого зверя. Отступят, ведь есть же и у них хоть кроха здравомыслия, хоть малость рассудка. Ибо он, Михаил Облов не отдаст свою жизнь без боя, не отдаст каким-то большелобым псам серой масти самое ценное, что у него есть – жизнь свою. Он будет рвать волкам пасть, будет ломать им лапы, будет кусать их, колоть им глаза стволом револьвера. Он не отдастся им просто так, за здорово живешь..., не отдаст самого себя, свое единственное Я!

Главное не дрогнуть! Необходимо забыть в себе человека, нужно стать зверем, решительным, сильным, упорным, осатанелым и злым, злым, злым!

Волки взвыли с потусторонней, замогильной прелестью. Они скулили, оплакивая свой извечно гонимый род, они пытались протяжным воем сгладить голодную тоску, старались изгнать свой извечный страх и ужас перед неумолимой волчьей судьбой. Своим воющим пением они заклинали ее, упрасивали о снисхождении, молили об удаче...

Он подобно зверю поджался и стал на четвереньки...

И грянул выстрел!!! Воскреющая молния и гром среди черной, промозгло-осенней ночи. Грохнул выстрел, затем второй... Облов различил его вспышку, – огненный глаз, взгляд Бога во тьме! Это судьба! Теперь, точно спасен! Теперь буду жить!

Ликующе возопив: «Ого-го-го!», Михаил пустился бежать в сторону выстрелов. Он, конечно, понял, что стреляли из охотничьего ружья, но если бы пальнули и, из трехлинейки или маузера, он все равно бросился бы навстречу спасительным залпам. Одно дело, загнуться с отбитыми почками в каземате ГПУ, совсем другое – оказаться растерзанным в клочья волками, живьем быть сожранным ими. Он мчал не разбирая дороги, он падал на грудь, тут же вскакивал, совсем не осязая боли на расцарапанном стерней лице, ладонях. Опять неистово гнал и этот бег не был ему в тягость, он почти не ощущал своих ног. Они несли его сами! То был бег воскресшего к жизни человека, вольный полет не сгнувшей, не пропавшей души.

Но вот, его глаза явственно различили контуры лошади, телеги, стоящего в ней во весь рост человека. «Эге-гей!» – закричал Облов, возбужденно потрясая руками. Расстояние между ним и возницей скачкообразно сокращалось. Наконец, человек в телеге, должно расслышав вопли страдальца, медленно повернулся к нему. Но отнюдь не бросился к Михаилу с братскими объятьями, а наоборот, перезарядив ружье, направил его ствол на Облова, скомандовал по-военному: «Стой, стрелять буду!».

Михаил недоуменно опешил, по инерции сделал еще несколько шагов и опустил руки. Возница был неумолим, подтверждая серьезность своих намерений, он одним щелчком взвел курки, Михаил замер. Он не мог говорить, он тяжело и судорожно дышал, враз вся усталость и перенесенное напряжение навалились на него, подкосили ноги. Облов опустился на закорки, а потом попросту плюхнулся задом оземь. Мужик пристально взгляделся в незнакомца городской наружности, повея стволom ружья, повелительно спросил Облова:

– Ты, кто таков?! Почто ночью по степу шастаешь? Чего орешь, как оглашенный, ажник лошадь мою напугал? Отвечай, не медли. Если лихой человек – иди своей дорогой, не то, – возница убедительно встряхнул увесистой «тулкой» и продолжил уверенно. – Ты не думай, там себе, – не на дурака напал? Чего уселся то? Ты, знаешь, ты там дюже не хитри. Чего молчишь? Али беглый какой, тогда нам с тобой не по пути? Ну, молчи коли так... А я поехал, – мужик перехватил свободной рукой вожжи, заученно щелкнул ими, для виду, будто огрел коняку. – Но-но! Пошла дура, пошла!

Облов очнулся, превознемогая налетевшую слабость, тяжело оторвался от земли, покорно махнул мужику обеими руками, торопливо заговорил против ветра, глотая его хлесткие порывы:

– Погоди, постой хозяин, не тать я ночной. Меня, братец, понимаешь, чуть волки не стрескали, – иронично усмехнулся своим словам. – Заплутал я малость, не туда зашел... А тебе огромное спасибо. Спугнул ты волков своей стрельбой, а то бы мне пришла хана!

Возчик придержал коняку, и уже приветливой обратился к Облову:

– Так бы и говорил сразу, а то бежит, махает руками, поди, разбери, что у каждого на уме. А потом вообще сел... Я уж грешным делом подумал, не полоумный ли какой сбежал из дурдома? – и переменяв тон на ласковый спросил дальше, – Как же это тебя мил человек угораздило-то? А волков у нас, правда, развелось, видимо, не видимо. Ажники приходят стаями, стоят на околице, им, видать, голодно. Ну уж, коли такое дело, не дадим пропасть христианской душе. Садись милочек в телегу, иди суды...

– Спасибо хозяин, – и Облов отвесил низкий поклон, – выручил ты меня!

Облову стало нехорошо. На душе гадко заскребли кошки. Он силился втолковать себе, ничтожность повода, из-за которого распустил нюни, будто девчонка курсистка, расслонившись с полпинка, но ничего не мог поделать с собой. На него накатило чувство, казалось незнакомое ему, чем-то похожее на муки похмелья, чувство выбивающие почву из-под ног, впрочем, он уже знал – то есть не что иное, как давно позабытое им состояние срама. Да, когда-то его изводил неприкаянный стыд, не понаслышке гнобила немочь, саднящую душу. Он мучился и болезненно переживал, поэтому, всегда прежде старался, во что бы то ни стало предвосхитить, избежать поступка достойного позора, даже гнал порочащие мысли, лишь бы не жег запоздалый стыд. Да-да, именно стыдливые муки совести, которые он почему-то утратил, потерял впопыхах, теперь овладели им. Было время, он не нуждался в том нравственном камертоне, он намеренно по дурости выбросил его. Но разве можно уйти от самого себя, даже изгваздавшись в грязи, все равно в тебе останется невластная тебя частица горнего мира, которая коль нужно вырастет до вселенских размеров – останется именно она – душа. И она скорбит, и она ноет, болит, страждет твоего очищения.

Ой, нехорошо, ой лихо! Душа саднила, горела! Облов совестился самого себя, стеснялся своей необузданности, своей жестокости, своей черствости к людям. Походя, сраженная лошадка немим укором стояла перед глазами, а сердце колола теперь совсем ранящая мысль: «Сколько их – невинно убиенных, – людей, не лошадей, не скотов, а людей – подобия Божьего?!» Его мозг уже не вмещал содеянного, в голове мутилось, нельзя полностью отдаться подобным мыслям, непременно тронешься умом. Невыносимое состояние?! Об этом, просто, нельзя думать, «там лвы».

Он свернул к затаившейся в распадке деревне. Селение встретило нависшей в воздухе настроженностью: ни лая собак, ни проблеска света в оконцах, только оплывшие словно гигантские сосули столбы дыма из печных труб, подтверждали что все же здесь обитают люди. Облов огляделся – диковинная местность! Чудные люди поселилась тут, ни плодового деревца, ни смородинового кустика на огородах, ветхие, полуразрушенные надворные постройки, голые тесины вместо изгородей, сплошь соломенные, изглоданные крыши на избах, даже не доносятся запаха хлеба – духа деревенской, полноценной жизни. Уж не сектанты какие обосновались в этой глуши?!

И они поехали прочь от того места, где еще совсем недавно волки выискивали свою жертву. И где, еще совсем недавно Облов собирался дорого продать свою жизнь, вознамерясь стать подлинным зверем, найти кончину в зверином обличье. Пожалуй, нет смерти абсурдней?! Посудите сами: человеку с высоты предопределенной ему природой, человеку, наделенному самым совершенным разумом, низвергнуться вниз, сравнятся с животным, уподобиться положению грызущегося за свою шкуру зверя, по сути, приняв первобытное состояние, утратив в себе человеческое и так отойти в вечность.

Не вдруг, но к Облову стало возвращаться ровное психическое состояние. Пережитый ужас угасал в закромах души. Вместо него накатило, а потом тоже испарилось тщеславное самодовольство: «Нате, мол, вам, не всякому такое по плечу?!». Затем стала окутывать теплом светлая радость, но не долго держалась и она – надвинулись стоящие перед ним проблемы, порождаемые ими заботы. Забота все покрывает, все растворяется в ней одной, как и все рож-

дается и пестуется ею. Забота неумолима – человек всегда в ее оковах. Но иногда и она отступает на второй план.

Они о чем-то говорили с возницей, назвавшимся Иваном, Михаил особо не вникал в услышанное и выговоренные им самим же слова. Да дело и не в том. Сегодня перед ним поднялся краешек завесы, именуемой судьбой или роком, а еще говорят, да и учат в церкви – Божьим предопределением?! А, может быть, всем вертит Господин Случай? Не окажись в поле мужика, не начни он палить из ружья, страшно представить, что могло быть? Право, не хочется думать о том, буквально ветхозаветном конце, чудом не наступившем. Слава Богу, что сия чаша миновала его!

Часть II

Главка 1

Погруженный в недавние страхи, Облов невзначай поднял голову и был приятно удивлен: помятая медная луна, словно ярко начищенная лампа Аладдина, низко нависала над степью.

Она осветила с придирчивой тщательностью всякую лошину, всякий бугорок, выкрасив поле по горизонту в золотистый, режущий глаз цвет, она подмешала тот же колер в гладко накатанное русло проселочной дороги, сабельные ударом рассекшей степь на две половины. Огромный простор под прозрачным звездным куполом завораживал звенящей пустотой, даже цокот копыт, и тонкое нервное позвякивание упряжи не нарушали разлитого в природе равновесия и безмолвия. Царственный покой объял землю. Целебная нега наполняла душу и плоть. «Мир тебе человеце, – мудро возглашала природа, – мир тебе во веки веков!». Ехать бы вот так всю оставшуюся жизнь, ничем не утруждая себя в застывшем подлунном мире, оцепенев разумом, напроочь отмякнув сердцем и лишь впитывать жадными глазами чарующую ночную тишину.

Как не притягательны идиллические видения, они только эфемерная грань между горестными полосами, обступающей нас жизни: чередующимися, напозающими, рвущими друг дружку на хрупкие куски. От злобной реальности никогда не уйти, как и не пытайся – она настигнет и уколет, больно уязвит в самый неожиданный момент, в самом, казалось бы, обетованном месте.

Михаилу показалось что он знает эту местность. Вот сейчас дорога пойдет под уклон, внизу, в распадке покажется небольшая деревенька, окруженная рослыми осинами. Вот-вот появится покореженный дорожный указатель с искромсанной табличкой: деревня Гостеевка. Бред какой-то?! Такого просто не может быть! Михаил, что иногда порой случалось с ним, проникся безумным холодком дежавю. Он намеренно взял себя в руки, хотя, безусловно, знал – Гостеевка с той идиотской выходкой далеко-далеко на севере. Видимо нервишки сотворили злую шутку, восприняв схожесть природного ландшафта за подобие похороненного в памяти места.

Но он уже навязчиво вспомнил и сирого крестьянина, выпоротого им, явственно спроецировал образ невинно загубленной лошаденки, ощутил рукой холодную тяжесть браунинга, а потом хруст отступных денег.

Облову стало нехорошо. На душе гадко заскребли кошки. Он силился втолковать себе, ничтожность повода, из-за которого распустил нюни, будто девчонка курсистка, расслонившись с полпинка, но ничего не мог поделать с собой. На него накатило чувство, казалось незнакомое ему, чем-то похожее на муки похмелья, чувство выбивающие почву из-под ног, впрочем, он уже знал – то есть не что иное, как давно позабытое им состояние срама. Да, когда-то его изводил неприкаянный стыд, не понаслышке гнобила немочь, саднящую душу. Он мучился и болезненно переживал, поэтому, всегда прежде старался, во что бы то ни стало предвосхитить, избежать поступка достойного позора, даже гнал порочащие мысли, лишь бы не жег запоздалый стыд. Да-да, именно стыдливые муки совести, которые он почему-то утратил, потерял впопыхах, теперь овладели им. Было время, он не нуждался в том нравственном камертоне, он намеренно по дурусти выбросил его. Но разве можно уйти от самого себя, даже изгваздавшись в грязи, все равно в тебе останется невластная тебя частица горнего мира, которая коль нужно вырастет до вселенских размеров – останется именно она – душа. И она скорбит, и она ноет, болит, страждет твоего очищения.

Ой, нехорошо, ой лихо! Душа саднила, горела! Облов совестился самого себя, стеснялся своей необузданности, своей жестокости, своей черствости к людям. Походя, сраженная лошадка немим укором стояла перед глазами, а сердце колола теперь совсем ранящая мысль: «Сколько их – невинно убиенных, – людей, не лошадей, не скотов, а людей – подобия Божьего?!» Его мозг уже не вмещал содеянного, в голове мутилось, нельзя полностью отдаться подобным мыслям, непременно тронешься умом. Невыносимое состояние?! Об этом, просто, нельзя думать, «там львы».

Они свернули к затаившейся в распадке деревне. Селение встретило их нависшей в воздухе настроенностью: ни лая собак, ни проблеска света в окнах, только оплывшие словно гигантские сосули столбы дыма из печных труб, подтверждали что все же здесь обитают люди. Иван подкатил к вросшей в сугробы избушке, отставил жердь, преграждающую въезд во двор, повел лошадь под уздцы в низкое тесное стойло. Облов огляделся – диковинная местность! Чудные люди поселилась тут, ни плодового деревца, ни смородинового кустика на огородах, ветхие, полуразрушенные надворные постройки, голые тесины вместо изгородей, сплошь соломенные, изглоданные крыши на избах, даже не доносится запаха хлева – духа деревенской, полноценной жизни. Уж не сектанты какие обосновались в этой глуши?!

Облов по опыту знал – в черноземных губерниях в пореформенный период расплодилось множество единоверческих сект и всевозможных промежуточных толков. Одни из них практически не отличались от привычного и понятного христианского вероисповедания, иные же, откуда только выскребли, такое чудовищное смешение чуждой веры и культа, доходящие порой до откровенного садизма и грязной разнузданности. Облову как-то довелось побывать на одном таком тайном радении, а точнее сказать на мерзком шабаше. Его знакомые из хлыстов-расстриг устроили пропуск на эту ночную сходку. Облов отправился ради низкого интереса, ради похотливой любознательности, но действительность превзошла всякие ожидания. С чувством гадливости Михаил потихоньку покинул бдения, душа его была оплевана и вымазана дерьмом. Он увидал, до какого скотства могут пасть люди, да и не люди то вовсе, а мерзкие скоты. Облов велел своим ребятам запалить «молельный дом разврата» с четырех сторон, и когда из его окон и дверей стали вываливаться голые мужчины и женщины, на их подпорченные огнем тела обрушились плети обловских удальцов. Вот была потеха. Однако Михаилу не довелось довершить судилище, в самый разгар экзекуции трубач протрубил сбор, и они ускакали. Уже за околицей, оглянувшись, он увидал огромные снопы племени и искр рванувший в небо, то рухнула крыша проклятого дома.

Хозяин позвал Михаила в дом. Пригнувшись, чтобы не разбить голову о низкую притолку, Облов протиснулся в тесный закут, провонявший кислой вонью овчин, квашенной капусты и еще особым запахом сладковатой прели, присущей старинному крестьянскому жилью. Иван, порыскав в темноте, запалил лучину, вставил ее в протадышний крестец. Потрескивая, постепенно разгораясь, лучина высветила внутренность избушки. Третью ее занимала разлапистая русская печь, делившая жилье на четыре части: Облов ступил в низкую прихожку, потолком которой являлись ладно подогнанные доски палатей, на которых тут же произошло весьма оживленное движение и раздались прерывистые детские голоса. И без того узкий проход загромождали свежесплетенные корзины и хитроумная оснастка для их изготовления, в углу примостился хозяйский маленький верстачок с миниатюрной наковаленкой. Михаил невольно продвинулся в комнату и оглянулся, занавес палатей украдкой раздвинулся и на Михаила настроенно уставились две пары васильковых глаз, окаймленных льняными кудряшками. Девчушки – подумал Облов. Слева, у глухой стены размещалось некое подобие лежанки, застеленной каким-то рублищем, по центру размещался чистый обеденный стол с лавкой у стены и колченогими табуретами, в углу, освещая почернелый иконостас, теплились лампадка. За печью располагалась немудреная кухонная утварь, однако женского рукоделья

и вообще атрибутов женского присутствия в доме не наблюдалось. Внезапно с печи раздался едкий старческий кашель. Дед – сообразил Облов.

Следуя приглашению хозяина, Михаил прошел к божнице, сел на лоснящуюся от старости лавку, огляделся уже спокойным взором. Нищета и голь была страшная. Подавив неловкое молчанье, Облов спросил:

– Иван, а ты, что без хозяйки живешь? Смотрю, как-то неухожено у тебя.

Хозяин невесело усмехнулся:

– Один бобылем, вот с дедом да огольцами кукуем. Баба то моя прошлым годом померла от легошной, тридцать годков ей всего и стунуло-то. Так вот тепереича и живем, – и сглаживаю нависшую беспросветную тоску, шутиливо завершил в рифму – мякину и сено жуем

Между тем, с полатей по обезьяньи спустились малолетние детки в замызганных рубашонках, подойдя к отцу, стали цепляться за полы его поддевки и канючить, ни сколько не стесняясь чужого человека: «Тять, а тять – дай хлебца?! Смерть исть хоцца!» – Отец, добродушно посмеиваясь в рыжие усы, приговаривал: «Обождите, обождите малость пострелята, дайте на стол собрать, гость ведь у нас».

– Почему все-таки пострелята? – мелькнуло в голове Облова.

Старшей из детей была девочка лет шести, ее тоненькие босые ножки, должно зазябли, она потирала их друг о дружку, поджимала под себя, словно цапля. Второй ребенок – трехлетний карапуз в одной короткой распашонке, ничуть не стадясь своего упругого писюнька, подпрыгивал, стараясь залезть отцу в карман, что ему никак не удавалось при всей самозабвенной настойчивости.

Приковылял на свет, спустившись с печи старик, согнутый дугой, его всколоченная жиденькая бороденка, нервически дергалась в такт жевательным движениям губ, его выцветшие розово-белесые глаза пристально вглядывались в Облова. Тому стало как-то не по себе.

– Здравствуйте дедушка! – Опережая ответ старика, Михаил, будто в чем-то оправдываясь, заговорил. – Вот, не обессудьте, пришлось среди ночи побеспокоить, потеснить вас. Напоролся в поле на волков. Спасибо огромное Ивану, – кивнул на суetyащегося хозяина, – выручил меня, а то бы... – и не докончил, безнадежно махнул рукой.

Старик же приблизившись к Облову почти вплотную, заглянул, а точнее как бы стал пролезать в самые его глаза. Михаил невольно отвел свой взор. Старичок, сжав свою тощую бороденку сухими узловатыми пальцами, срывающимся тенорком почти прокричал:

– А знаю, молодчик, знаю! Великого страха сегодня ты натерпелся, но прямо скажу поделом. И еще замечу, только еще больший страх в тебе остался и сидит пока! – Старик деланно сурово погрозил Облову нераспрямившимся пальцем. – Хотел зверем заделаться для волков, но Господь Бог не сподобил, не допустил, ибо звериного в тебе и так много вложено. Ай, много! – и хлопнул задорно в ладоши. – А ты ведь, паря, крещеный человек – самая что ни на есть плоть и подобие Божие. Сделай для тебя попушение, отпусти еще чуток звериной стати – пропадешь окончательно, сгинешь для Царства небесного, и уж ничто тебя не спасет! – Старик трясся как в лихоманке. – Ни казнь лютая, ни угодник божий выручить не сумеют. Знаю, знаю о чем ты думаешь, порой они праведны думы-то твои, но безвременные они, лишние по сему времени, то есть. Все мы мученики сегодня на белом свете, всякий растратил душевную благодать, оно и тебе, знамо, не хорошо. Токмо, ты все о себе маешься, самим собой для себя думаешь спастись? Не выйдет мил человек. Никогда такое не выходило!

Облов испуганно смотрел на вещавшего старика, явно пророческие слова, которого повергли Михаила в немоту и оцепененье. По сути, ему академическому выпускнику и не в чем возразить безграмотному крестьянину. Михаил знал – дед, безусловно, прав. Но эта правда, как горька она не была – не разила наповал, она оставляла животворную отдушину, в ней открывался спасительный выход. Оттого и молчал смиренно Михаил, надеясь, что старик укажет, где тот выход, где искать избавление. Между стариком и Обловым установилась понятная

лишь им обоим связь. Михаил ощутил всеми фибрами души зависимость своей судьбы от слов старика, а тот, проникнув непознанными путями в коренную суть Облова, оказался в плену дебрей и завалов, напластованных в личности атамана и должно пытался сам вырваться из того топкого и цепкого плена. Старик и не осуждал Облова, но и помочь сейчас в чем-то навряд ли сумел бы?!

Да не слушайте Вы его, старого дурня, – вмешался Иван. – Брешет он всё, выжил старый хрыч из ума, вот и мелет всякую ересь. И откуда он только такие ученые слова выскивает, будто всю жизнь псаломщиком пробавлялся. Заделался на старости лет юродивым, лезет к честному человеку со своими поучениями. Да Вы не думайте чего лишнего, он и грамоты то не знает. Лучше бы за печкой следил, прогорела совсем.... Одна морока мне с ним, несет всякую окоlesiцу, страшает, понимаешь, людей. – Обратясь прямо к Облову, Иван извиняющимся тоном добавил. – Вы уж не обижайтесь на него. Старый человек, что дитя малое, мелет, что в голову взбредет, а я сообщаю, как бы его кто не зашиб со зла, за такие его вирши – и покрутил у виска пальцем. – Пойдемте-ка лучше к столу, попробуйте наши харчи.

Выслушав гостеприимного хозяина, Михаил оглянулся на его отца. Их взоры встретились, старик и Облов прочли в глазах друг друга как бы понимание связавшей их общей тайны и явное несогласие со словами Ивана. Получалось, что их уже связывали общие узы, рвать которые они не собирались.

– И преломив хлеб в доме отверженном, узришь ты суету и пустоту помыслов своих, – молитвенно пропел старик. Михаил когда-то изучавший Закон Божий что-то не припомнил схожего по смыслу псалма...

– Батя, да замолкни ты, в конце-то концов! Дай лучше человеку-то поесть спокойно? не напрягай попусту. Он и так нынче слишком много страха натерпелся, да еще ты со своими запечными кафизмами лезешь. Ступал бы ты, отец, лучше спать-почивать, хошь, вот, картошечку возьми, – и протянул отцу большую картофелину – холодную, неошкуренную, ноздреватую...

Старик, не чистя, разломил ее надвое, вонзил редкие источенные зубы в желтовато-рыхлую мякоть, что-то промычал набитым ртом, и, пятясь, отступил к печи.

– Вот такие пироги, – начал горестно Иван, – без бабы совсем швах. Сами видите – ребятишки мои совсем мелкие. Клавусь, ты уж большая девочка, – обратился он к пигалице, – очисти братцу-Степану картошечку-то.

Девочка, до того по-старушечьи подставив ладошку под подбородок, откусывала хлеб маленькими кусочками и долго-долго жевала его. К картофелинам почему-то не прикасалась. Зато мордашка мальчика была вся перемазана липкой кашницей, так он выедал картофелину изнутри, не имея должно ловкости пальцев, чтобы ошкурять ее. Отец продолжал:

От деда, посмотрите не него, помощи никакой, он словно в детство впал, превратился в доморощенного вещуна-оракула. Да только блажь все это причудная, ничего у него не сходится, мелет всякую хреновину по-пустому. И откуда у него взялось-то экое красноречие, должно с печи упал, вот и пестует мудреные словеса, словно поносом исходит, прости Господи, не к столу будет сказано, – перекрестившись на иконы, вздохнул и уже тверже добавил. – Ну, ничего, Бог даст, перезимуем?! Картоха есть, жито есть... Едоки у нас, сами видите, не ахти какие, – и улыбнулся, взглянув на кроху сына.

Пацанчик, набив ротик до отказа, перемазанный картофельным мякишем с ног до головы, тянулся пухлыми ручонками к кувшину с квасом.

– Клавусь, ты дочка не спи, налей-ка братику кваску из махотки. Смотри, не то сейчас разольет, ты уж посматривай за Степкой-то, пока мы с товарищем беседуем.

Девочка, отложив лущимую картофелину, приподнялась на колени, встав на скамью, налила густую зеленоватую жидкость в оловянную кружку, протянула ее мальцу. Тот жадно

припал к посудине, с каждым глотком его живот раздувался прямо на глазах. Без передыха карапуз выдул почти пол-литра кваса.

Облову стало не по себе, он отвел глаза:

– Иван, – лишь бы переключить мысли на другое, стал говорить Облов, – А ты, что не пытался найти себе бабу, сейчас по деревням вдов-то полным-полно? Все легче хозяйствовать, не то, что одному тащить такое ярмо.

– Да кто к нам отважатся пойти, кому надо такую обузу на себя брать?

– Ну не скажи, Иван, мне кажется ты совсем не прав. У тебя только двое, так сказать, малолетних иждивенцев, ну правда еще дед старый, за ним тоже уход нужен, но все равно, это не край... К тому же лошадь имеешь, да и сам не инвалид. Или ты без глаз, прости конечно, что я так напрямик говорю, посмотри округ сколько вон солдаток на безногих, на культяпошных бросаются, а ты мужик справный, – Облов улыбнулся, – парень хоть куда! Аль не правда? – и подмигнул лукаво.

И пошел, полился откровенный, прямо-таки закадычных друзей разговор. Вспомнили германскую, вспомнили добрым словом старое, сытое время. Потом помянули продрозверстку, будь она неладна, подрезавшую русского мужика под самый корень. Да мало ли чего не взбредет в голову, мало ли о чем вздумается поговорить двум одиноким мужикам?!

Когда уже собрались укладываться спать, с печи раздался тягучий старческий тенор:

– Служивый, а служивый – поди-ка суды?

Облов смекнул – дед неспроста кличет его. Он приблизился к старику возлежащему на лежарейке поверх вороха тряпья, склонил к нему голову в знак покорности. Старец, пристав на локтях, поймав взор Облова, тихо, почти шепотом промолвил:

– А ты покайся, покайся народу-то?! Авось и полегчает, отмякнет душа-то. Главное, ты не бойсь – покаянную голову, и меч не сечет. Не робей, покайся! Так надо для души, она того хочет. Ну, иди теперь, иди, с Богом! – Старик опустил на свою постель и несколько раз перекрестил в спину уходящего Облова.

Михаил опустился на скрипучую лавку, прилаженную в простенке, под крохотным оконцем, по студеному времени до половины забитому снаружи. Но все равно, из щелей в раме тянуло холодком. Облов накинул на плечи ветхий полушубок, заботливо припасенный хозяином, запахнул полы потуже, да и примостился, улегся, поджав ноги, благо лавка широка.

Сон не шел. В голове мешались обрывки путанных мыслей, чреватых правильными выводами, будто начитался слишком ученых книг под вечер. Михаил пытался отыскать среди мельтешащих идей одну – самую насущную и главную. Но она ускользала от него, казалось – вот ухватил, начинаешь раскручивать опутывающие ее фразы, глядь, а выходит самая что ни на есть пустопорожняя ерунда. Здравый смысл ускользает, иссякает как вода в песок. Может быть, стоило встать, закурить, прочистить мозги от скопившееся дури, но лень тяжелой немощью придавила к лавке, оплела все члены вяжущей ломотой, трудно даже и пальцем шевельнуть.

Главка 2

Михаила разбудил незнакомый мужской голос. Облов протер слипшиеся, будто наперченные глаза, встряхнул головой, как с большого бодуна, не совсем осознано осмотрелся в полу-тумане. Наконец, врубился, вспомнил где находится. Хозяин, заметив проснувшегося постояльца, весело окликнул того:

– Ну, как – не сильно блохи кусали? Мы-то привычные, а они злюки – свежачка дуже любят, – и залиvisto засмеялся.

– Какие там блохи, спал, как убитый, даже самому в диковинку. А где же дед-то? – Михаил только обратил внимание. что старика нет в отведенном закуте. Его лежбище аккуратно застелено выцветшей попоной, в углу прибрано, все чинно расставлено.

– Да ну его, – махнул рукой Иван, – с утра пораньше подался в церкву. – И вдруг, разом посерьезнев, добавил. – По совести сказать, на отца грех обижаться. Вроде, как и ругался с ним, это я к тому, что не велю ему милостыню собирать. Но он свое талдычит, якобы и не побирается вовсе, в смысле христорадного подаяния, а поучает благодарность людей за явленные ему способности. Он у нас, сами видали, ровно блаженный – блаженный и есть. Ну, бабы, знамо, дурные головы, любому коту-баюну в рот глядят, им бы только помудреней, чтобы больше сердце забирало. А дед на это мастак, уж он так им про жизнь их тяжкую распишет, до слез иную доведет. Ну и дают ему, кто копеечку, кто хлеба кусок, иная и яичко не пожалеет. Отец все несет домой. Я ему – зачем батя, разве мы нищие?! Да и не голодуем, иные живут гораздо хуже, посмотри как другие бедствуют? Он свое – то богово, то богово. Делать нечего – едим поданный хлебец, не выбрасывать же. Да и привыкли уже на дармовщинку. Оно, конечно, совесть-то есть, кусок тот всегда рот дерет, но вот детишки малые, они еще не понимают. Да и отец не поймет, настырный он у меня стал, мнит себя праведником. Еще и бабы, они все равно не отстанут, уж так приучены, верят во всякие слова, может и взаправду поможет, так ведь у них. – Мужик в задумчивости почесал лоб и вздохнул. – А по правде сказать...? Оно, большое подспорье выходит. Туговато нынче с харчишками, кабы не батя, уж не знаю, как и жили бы?! Да, еще, – будто опомнившись, встрепенулся Иван, – отец, тут уходя, не стал тебя будить, но приказывал передать вам вот сию ладанку. Сказывал, что на ней прорисован апостол Павел, попервоначалу гонитель христиан, ну да вы сами знаете эту историю. Батя, что-то еще говорил, про муки какие-то, про дух, который должен снизойти, да я, признаться, и не понял, чего он там плел. Одним словом, велел отдать вам, чтобы вы, значит, носили. Так возьмете или как?

Облов протянул руку, в его ладони оказалась маленькая овальная пластинка, литая из незнакомого легкого сплава. На лицевой стороне ее был изображен человек средних лет, высоколобый, лысый, но с окладистой бородой.

Аскетическое лицо излучало то непередаваемое словами духовное сияние, которое отличает искренние творения престонародного художника. В глазах апостола – твердость, воля, ум. Да, это, несомненно, Павел из Тарса – ведущий идеолог зарождавшегося христианства, светоч великого учения.

Облову стало как-то не по себе. Что хотел сказать старик, подарив ладанку с ликом Павла? Разумеется, дед вложил в свой дар определенный смысл, даже некую далеко идущую символику. Но о чем она? Что и как связывает его, Михаила Облова, с величайшим учителем христианства?! И еще одна странность?! Павел хоть и причислен к апостолам, но ведь он не видал Христа воочию, не сопровождал Иисуса в его странствиях по Палестине, о нем не говорится в Евангелиях. В «Деяниях» сказано, что римский гражданин Савл поначалу был яростный противник христиан, добровольный и искренний гонитель приверженцев нового учения. Но затем в силу известных всем обстоятельств, после «обращения», стал его самым талантливым проповедником. Личность необычайно сложная и богатая, воистину титаническая! Павел испытал в жизни столь великие тяготы, перенес столько боли и унижений, что по праву, его образ затмил деяния других апостолов (как неловко будь это сказано), и наряду с Петром стал первоверховным.

Так, что хотел выразить старик?! Ведь он вчера все твердил о каком-то покаянии? Возможно, да и, скорее всего, он совсем не прост этот старик?! Пожалуй, стоит обязательно свидеться с ним, расспросить его по-обстоятельней. А что, а если и в самом деле убогий старикашка посвящен в недоступные простому смертному знания. Так пойду, разыщу его! Ведь неспроста он оказался на моем пути, да и слова его отнюдь не бред выжившего из ума,

опять же ладанка? Нет, это не забавная случайность, тут на лицо неведомая мне закономерность, не иначе как предопределение занесло надо мной свою длань.

Облов расстегнул ворот френча, просунул руку под рубаху, его пальцы нащупали тонкий, витиеватый, шелковый шнурок, он потянул за него. Из-за пазухи выскользнула, блеснув электрическими брызгами, панагия с изображением Божией Матери. Зажав ее в свободную ладонь, Михаил украдкой сопоставил архиерейскую реликвию со скромной ладанкой деревенского старца. В отсветах бриллиантовых блесков вокруг Марии, изображение Павла вовсе не померкло. Да и само грубое тельце ладанки настоятельно требовало, вопреки пословице «смотри глазами, а не руками», – прикосновения к себе, понуждало потрогать, погладить себя. Епископская же иконка, украшенная драгоценными камнями, наоборот настораживала своей излишне женской роскошью. Облов, было, хотел снять панагию через ворот, но тут вошел Иван. Михаил спешно засунул драгоценность обратно, ладанку же, зажав в кулаке, бережно вложил в нутряной кармашек френча, решив при удобном случае, переменить вещицы местами. В сущности, он понимал, что сейчас по-детски замельтешил, однако, было как-то неудобно остаться в глазах простого крестьянина сентиментальным обалдуюм.

Не измыслив ничего лучшего, Михаил подступил к Ивану, предлагая тому деньги за спасение и кров. Разумеется, стыдно, навязывать мужику червонцы, пожалуй, впервые атаман ощутил подобное неудобство, а ведь раньше, одаривая деньгами, он чувствовал себя благодетелем. Получив подачку, люди своим поведением оправдывали его самомнение, они лебезили, кланялись, раболопствовали. Сегодня же Михаил не нуждался в подобном лакействе, смотреть на унижение ближнего было противно ему. Он не желал видеть себя превыше кого-то, вдобавок свербела мысль, а разве можно платить деньгами за избавление от гибели?! Но, Господи, он не знал, истинно не знал, как следует отблагодарить человека за добро? Вообще не знал, как правильно себя повести, как это нужно делать?

Когда он протянул Ивану смятые кредитки, тот испуганно отшатнулся, отдернул руку, словно Облов хотел всучить ему пропитанные ядом листы. Михаил еще больше смутился, но вместо того, чтобы как-то замять это дело, продолжал протягивать деньги. Иван же, смешно отгораживался растопыренными пальцами, твердил как заведенный попка: «Не надо, не надо...».

Наконец, Михаил прекратил свои неуклюжие домогательства (как еще назвать эти дурацкие действия?). Удрученно тиснул ассигнации в нагрудный карман, с досадой пробурчал:

– Ну и Бог с тобой! Что за упрямство?! Я же хотел как лучше, вижу, бедствуешь! Отчего же не помочь человеку?

Иван, склонив голову на бок, по-птичьи вслушивался в сетования Облова, не перебивая его сердитых излияний. Когда гость малость поостыл, мужик произнес виноватым тоном:

– Вы уж не обижайтесь на меня. Оно понятно, почему бы мне не взять денег-то, коли дают от чистой души? Но посудите сами. Вроде только об это говорили, и опять – как бы подавание выходит? Вот вы теперь скажите, мол, отец твой милостыню собирает, ты ее принимаешь, а почему у меня не хочешь взять? Не знаю, как словами выразить? Только у бати, вроде как за работу дают, хотя, конечно, какая там уж работа – охмуряет старух, – немного подумав, как бы про себя прошептал, – а может и не охмуряет, поди-ка рассуди... Там вроде «спасибо» – сказал и все, а вы мне деньги даете. Там схрумкал кусок хлеба, и ничего не должен, в полном расчете... А тут большие деньги?! Разве я их заработал? Нет, там в степи само собой все случилось, я и непричастный вовсе. А теперь, выходит, как бы становлюсь вашим должником?!

– Да каким таким должником?! – Облов хотел даже выругаться на занудного мужика, но вовремя спохватился. – Это я тебе по гроб, во век должен буду, ты меня от волков спас!

– Да нет, не так, поймите и вы меня правильно! Не по-божески мне деньги брать! Люди должны выручать друг друга просто за так, по долгу христианскому, иначе получается ерунда, нехорошо тогда выходит...

– Эх ты, Иван, я же по человечески просто помочь тебе хочу!

– Не надо, лучше перестанем говорить о деньгах. Ну, их к черту лешему! Не было их у меня и не нужны, а то еще забалуешь с ними... Жили мы раньше и так проживем. Только не сердчайте, поймите, я хоть и немый мужик, но понимаю, что к чему. Давайте-ка лучше к столу...

Простившись с гостеприимным Иваном, Михаил зашагал по подмерзшему проселку, ведущему в ближайшее село Могарово. Он спешил поспеть к утренней службе в храме. Дорогой он снял архиерейскую панагию с шеи, приладив на ее место ладанку с апостолом Павлом. В его сознании шелохнулось нечто, похожее на суеверный атавизм. Он, почему-то с надеждой, стал полагать, что апостол из Тарса обязан помочь ему, подсобить, как говорят деревенские, в передрыгах жизни. Михаил верил и не верил, однако чувство, что ладанка каким-то непредсказуемым образом повлияет на его судьбу, в лучшую сторону, не покидало его. Ощущая ее у себя на груди, он испытывал удовлетворение. Наверное, со стороны это могло показаться смешным, но он подсознательно верил, что теперь он не сам по себе, не брошенное на произвол перекаати-поле, а находится под охраной высших сил, во всяком случае, не беззащитен перед предстоящими ударами судьбы.

Кроме того, Михаил твердо решил отдать, возратить панагию церкви, вернуть через посредство любого церковного священника. Правда, его смущала одна деталь. Определенно батюшка спросит – каким, таким образом, столь ценная, да не просто дорогая, а, скажем так, глубоко сакральная вещь попала в руки Облова. Не краденная ли она, и вообще, откуда таки взялась?!

Панагию Облов добыл еще на Кавказе, когда, будучи под началом горского князя, они напали на местный совет и реквизировали ценности, собранные комиссарами в горах. Видимо, панагию принадлежала одной из ограбленных большевиками епархий, а может статься, ее просто сняли с груди убиенного владыки, многое тогда вершилось по чудовищным законам дикого времени. Но сегодня эта реликвия, а точнее сказать высокий знак пасторского сана, обжигала руки Михаилу, жгла огнем, как не по праву, ей обладавшему и скрывавшему ее, а точнее, удержавшему из корысти как драгоценную вещицу, имеющую рыночную цену. Самое легкое – соврать, якобы панагия досталась по случаю. Но тогда становилось непонятным – для чего же он отдает ее именно в захолустной сельской церковке, отчего не в губернии, да и вообще, почему надумал расстаться с ней? Чем больше Михаил загружал себя этими вопросами, тем более путанным виделся выход из возникшей по сути простой ситуации. В конце концов, он решил, что ничего не станет ничего объяснять, пусть клирик думает, что хочет. Собственно, какое дело ему Облову до догадок пастыря, запрятанной в глубинке церквушки. Но следом Михаил спохватился – не годится подобный образом думать о Господнем слугителе. Но тут же возникла уж вовсе еретическая мысль – а к чему городить огород, зачем идти в храм и возвращать церкви причитающуюся ей по закону панагию? И помыслы Облова, разъедаемые противоречивыми сомнениями, вошли в замкнутое пространство безвыходного лабиринта.

Прежде воспринимая свою повстанческую деятельность, как правую борьбу по защите интересов трудового крестьянства (во всяком случае, он и его глашатаи так вещали сельчанам), он особо не задумывался о моральной стороне самого дела, о правомерности и нравственной допустимости методов, применяемых им в этой, так называемой, борьбе. Теперь же, почему-то, последний год виделся ему исключительно в черных тонах, его словно обухом огрели по голове, он как бы прозрел.

Неужели, он так исковеркал собственную жизнь, так запутался в своих противоречивых поступках, что один единственный искренний шаг требует полного развенчания всего его пути, требует немилосердного насилия над своим я, требует сломать себя?! Но это невозможно! Нельзя зачеркнуть собственное прошлое, нельзя убежать от него, нельзя, просто, скинуть груз былого, переложить его на чьи-то плечи – такого никому не удавалось. Не удастся

и ему – Михаилу Петровичу Облову. Он много чего делал в жизни, что было не по вкусу ему, а еще чаще совершал такое, что прежде виделось неким баловством, лихачеством, а теперь предстает как несомненный греховный поступок, а то и тяжкий грех. Возможно имя тому – уже не проступок, а преступление?! Да он многое натворил: и по глупости, и по недоразумению, и по здравому рассудку, но по злему умыслу слишком много вершил. За все содеянное – по людскому и Божьему закону следует платить. Расплачиваться по высшему счету – где цена сама жизнь, а может быть и еще кое-что повыше?! Например, память о нем, как о жившем на земле человеке?!

Но он еще не готов, он еще не созрел рассчитаться за содеянное им, за свои грехи. Он еще только начал ужасаться всей отвратной совокупности навороченного им – образы, прямо достойные кисти хрестоматийных художников картин «Страшного суда». Но уже перебивала драя мысль:

– А если ступить на порог храма, пасть на колени, и покаяться. Покаяться людям за зло, сотворенное мной, отдать себя на людской суд. Сознаться во всем, как Раскольников у Достоевского?!

Судорога страха пробежала по его членам. Распалая воображение, он не заметил, как вышел на продуваемый всеми ветрами простор и теперь шел полем, вчерашним полем, едва не ставшим его последним пристанищем. Облов по какому-то наитию отстраненно представил себя, посмотрел как бы со стороны, с высоты небес: маленький человечек, бредущий по пустынному полю. И эта хрупкая плоть является носителем его Я? И в этом маленьком Я заключен весь мир, распростертый вокруг: и пожухлая земля, и бледное небо, и слабое осеннее солнце?! Неужели, погибни тот человечек, сгинь, пропади совсем, – и исчезнет весь такой зримый, осязаемый, родной Мир?!

И вдруг Облов будто споткнулся в своих мыслях. До него только что дошло – он все-таки помыслил о самоубийстве! И ему уже не жаль себя, ему только жаль, что вообще ничего не будет. – Облов даже остановился:

– Нет, нет, не так!!! Не хочу я! – Порыв студеного воздуха целебным наитием остудил его мозги. – Далеко же ты зашел, мил человек, копаясь в себе? Верно ты, Миша, болен? Или того хлеще – сходишь с ума? Ну, нельзя же так распускать нюни? Да и что, собственно, произошло? Неужели ты один такой в России? Ну, дурной, ну дурной... – И в тело стала вливаться воля к жизни, избавляя голову от лукавой минутной слабости. – К черту, прочь погребальное настроение! Я ведь еще живой! Мне пока ничего не угрожает. Посмотри, оглянись кругом – как здорово жить! Вон идут бабы, одна довольно смазливая, – Облов смекнул, что ступил в Могарово.

Подойдя к высокой церковной ограде, он в нерешительности остановился, сжав кулаками кованые чугунные прутья. Должна служба приближалась к концу. Из низенького храмового притвора неторопливо выходили прихожане: одни спешно покидали церковный двор, другие топтались на паперти, что-то медлили. Присмотревшись, Облов узнал в той толпе старика, Иванова отца, это его обступили досужие женщины. Облов собрался повернуть к воротам, сделать шаг к входу, но спохватился. Сердце отчаянно золотилось, к лицу прилила кровь, даже прошиб липкий пот...

– Господи, неужели я действительно собирался совершить это?! Неужто я, используя как повод возврат панагии, хотел войти под своды собора, вознамеривался назвать себя, сказать кто я таков. Вполне допустимо, что я упал бы на колени у солеи и стал бы публично каяться?! А может статься, возопил бы слезливо, начал бы ударяться головой о напольные плиты, кликушествовать? Какой ужас?! – Облова передернуло. – Да я, просто, не перенесу подобного позора? И как я мог такое подумать, каково малодушие, однако? – В него уже вселилась злоба. – И еще старый хрыч со своей ладанкой?! Зачем мне пристало искать встречи с ним? Да и не по христиански это – предугадывать свою судьбу, вопрошая к доморощенным

прорицателям, к тому же – церковь не одобряет ворожбы и волхований. Да и жизнь теряет смысл, когда знаешь ее наперед. Нет – я не пойду к старику! Дал иконку, – ну и спасибо ему, стану молиться апостолу Павлу. Только зачем позориться, зачем травить себя, сердце свое? Не пойму, что за помрачение нашло на меня? Наверное, проклятые волки виноваты, перепугался тогда я насмерть, чуть разумом не тронулся. Дикость (!), нарочно и не придумаешь.... Но, слава Богу, кажется оклемался, спал с души проклятуший туман. Все прошло, проехали...

Облов оторвал руки от кованной решетки, резко развернулся и зашагал прочь от врат храма.

Главка 3

К полуночи следующих суток, добравшись до станции Раненбург, Михаил с горечью обнаружил, что поезд на Москву, вопреки его изменившимся намерениям, прошел часом раньше. Следующий будет лишь утром. Михаил хотел как можно быстрее попасть в первопрестольную, пробираться окольными путями для него не имело смысла. Теперь мало беспокоило, что чекисты сграбастают его и подведут под распыл. Собственная участь уже не вызвала в нем безотчетного трепета, в душе за какие-то сутки вышло спокойствие, сродни мусульманскому фатализму: чему быть – того не миновать. Михаил решил идти напролом. Все равно, когда-нибудь придет конец, что не так уж и важно в его волчьем положении. Означало ли это, что он поставил на себе крест, – совсем нет, подсознательно он ощущал, что обязательно выпутается, не может быть такого, чтобы запросто так сгинуть, уйти в небытие.

Да и сами рассуждения о грядущем конце мало занимали, для Облова сейчас первостепенной стала задача: определиться в новом мире, найти свой верный путь. Жить как раньше, а уж тем более бандитствовать, он уже не мог, да и не хотел. Однако он еще не знал, как ему поступить, как жить дальше, но предчувствовал – правильный путь обязательно отыщется.

Потолкавшись в битком набитом уютном провинциальном вокзальчике, не отыскав места, где можно было притулиться, Облов вышел на перрон. Шел густой снег. Зазимье. Рыхлые пушинки, медленно кружась, плавно ложились на грунт, местами уже образовался пружинящий снежный наст. Ближе к вокзальным дверям, где из-за постоянной сутолоки стояла унавоженная слякоть, снежинки едва соприкоснувшись с землей, тотчас сжимались, сходили нанет. Лицо вскоре стало мокрым, сырость проникала за шиворот, даже в карманы пальто набилась морозная пыльца, зябко тающая, стоило погрузить в нее руку. Подставив ладонь под снегопад, Облов зачарованно наблюдал превращение снежинок в капельки липкой влаги. Удивительная метаморфоза, весьма наглядная – гибель старой и зарождение новой субстанции!

Но лирику в сторону. Облов испытывал настоящую потребность в отдыхе, но где приклонить голову – не прикорнуть же, как некоторые на вокзальной лавке, не лечь же, в самом деле, на заплыванный, в шмотьях грязи и подсолнечной лузге пол? Михаил решил напроситься переночевать у кого-нибудь на дому. Он хорошо знал, что по сегодняшним временам не так-то просто разжалобить людей, да они и правы, пойдя, пусти на ночь приبلудного человека, чего доброго изведет всю семью, а там ищи, свищи ветра в поле. Он подошел к станционному рабочему в форменной шинели, возившемуся с сигнальным фонарем. На вопрос Облова о «постоялом дворе», тот к его радости, не проявив удивления, подробно проинформировал: где и как можно заночевать. Михаил заспешил по указанному адресу, благо идти было совсем ничего.

Дверь ему открыла неопрятно одетая, взлохмаченная женщина, отнюдь не заспанная, но по ее заплетающемуся выговору можно было догадаться, что она сильно нетрезва. Облову было не до щепетильности, его даже не пугала возможность очутиться в воровском притоне. Он давно вращался с люмпенами различных сортов, в крайнем случае, барабан его револьвера опять под завяз, да и поставить себя он умел в любом обществе.

Пройдя вовнутрь помещения, Михаил смекнул, что попал в обыкновенную третьеразрядную привокзальную ночлежку. Везде – на двухъярусных лавках по стенам, на разлапистой русской печи, на полатах над проходом, небрежно завешанных тряпьем, вповалку лежали и сидели люди. Посреди, под тускло светящей керосиновой лампой, в клубах махорочного дыма неприятельная компания в овчинных полушубках, смачно переругиваясь, тянула мутный самогон. Взлохмаченная женщина, на правах хозяйки, видно участвовала в попойке, ее тут же окликнули, но она, огрызаясь на нетерпение своих собутыльников, повела гостя за собой. Толкнув низенькую дверь,пустила Михаила в довольно приличную комнату, освещаемую мерцающим пламенем лампы у икон. Облов огляделся. У стены, завешанной в качестве ковра шелковым китайским покрывалом с драконами, примостилась казарменного типа кровать, заправленная стеганным одеялом, у темного оконца пузатый комод, у входа стоял выдавший виды платяной шкаф, По центру, у овального стола, покрытого цветастой клеенкой, два венских стула, на столешнице миниатюрный медный самовар с чайным прибором.

– Здесь у меня «номер» для приличных людей, – напевно произнесла хозяйка. – Случалось, важные господа останавливались, один раз даже большой комиссар из самой Москвы заночевал, тогда всех постояльцев охрана на улицу выгнала. Иногда сдаю комнату на недельку другую, но только людям благородным, чистым и опрятным как вы. Так что не обессудьте? Располагайтесь, как будет удобней. Может, поесть хотите или чайку вскипятить?

Отказавшись от угощенья, Облов выпроводил хозяйку. Он понял, что женщина различила в нем птицу непростого полета, оттого такое радушие, оттого и такие апартаменты. Что же, придется отблагодарить за понятливость, сейчас это дорого ценится, а с другой стороны – хорошая западня, уже не уйти. Закрыв дверь на крючок, Михаил заклинил его дужку подвернувшейся под руку чайной ложкой, сняв пальто и стянув сапоги, не раздеваясь совсем, бросился на постель, усталая плоть радостно возликовала.

– Ну-с, утро вечера мудренее, – подумал Облов вслух и смежил веки.

Ночная духота стиснула легкие, в висках ломило, вся кожа взопрела и чесалась, грубый хитон резал под мышками – лежать было невмочь. Он с трудом оторвал тяжелое тело от лежанки, спустил ноющие ноги на прохладный глиняный пол, нащупал сандалии, машинально надвинул их. Огляделся округ. В блеклом мареве отсветов масляной плошки, люди, спавшие на лежанках и на полу, в проходах между ними, напоминали покойников, по странному обстоятельству собранных в одном тесном помещении. Перешагнув через распростертые на циновках тела, обойдя наваленные пирамидой тюфяки с пряно пахнущим восточным товаром, он вышел на свежий воздух. Одиноким серп месяца еле освещал приземистые глинобитные постройки, перемежаемые черными провалами тростниковых навесов, под которыми изредка всхрапывали мирно спящие арабские лошадки. Услышав протяжный, тяжкий животный вздох, обернувшись, он различил двух верблюдов, мирно жующих свою жвачку. Он прошелся по дворику караван-сарая, украдкой заглянул в пышущий жаром зев двери, еще с вечера влекшей его внимание. Только бегло кинул взор, побоявшись подойти ближе. Слышался мерный храп здоровых мужчин, приглушенное клацанье соприкосновений металла (похоже на сквозняке колеблет боевое снаряжение). То были легионеры, вчера разместившиеся не постой. Мойше успокоено вздохнул. Хорошо, что пока солдаты прокуратора беззаботно посапывают, а он, еврей, уже на ногах. Теперь ему наверняка удастся пристроиться к колонне этих язычников. Под охраной их копий и коротких мечей, он безбоязненно преодолеет каменистые плоскогорья Самарии, избежит участи посланцев Синедриона, растерзанных кровожадными дикарями-разбойниками, ждущими неблагоприятных путников в горных ущельях или за песчаными барханами.

Мойше старался не думать о задании, вверенном ему в одной из тайных зал дворца первосвященника. Главное, что основой того поручения должна стать непримиримая беспощад-

ность к инакомыслящим, к врагам Яхве. Именно жестокость, которую он так наглядно проявил в родном Тарсе и уже дальше по-бережью, выискивая и уничтожая врагов Израиля.

Наиболее строптивыми и непреклонными противниками канонического иудаизма, богохульниками, поднявшими руку на Шехину Творца, были последователи Иисуса, из Назарета. Они провозглашали непозволительно привлекательные для простонародья ценности, тем самым намериваясь поломать жизненные устои на обетованной земле, порушить веками сложившийся уклад, и не только в краю Моисея, но и по всей Великой Империи, по всей ойкумене, как говорят греки. Они иступленно фанатичны, они стойки и смелы, они полны духа решимости, они воспринимают мучение, не как кару, а как благое воздаяние. Нет, они не сумасшедшие, как считают некоторые недалекие начальники, они одухотворены и непреклонны, раз положив, всегда твердо стоят на своем. Вот с такими непокорными людьми – ему, Мойше, предназначено бороться, он востребован быть карающим мечом Яхве, как неумолимый рок исторгать врага из колен Израиля, призван нещадно губить их, испепеляя всякую память о них.

Однако семена скверны посеяны весьма щедрой рукой. Немало еретиков нашло последний приют в штольнях Антоньевой крепости, в затопляемых узилищах дворцов Хосмонеев и Ирода Великого. Другие навечно похоронены в зыбучих песках и бездонных глубинах Мертвого моря, а еще большее их число, просто побито камнями. Но и живых прозелитов уже не перечесть, как шепчутся жрецы в притворах иерусалимского храма, они множатся с каждым днем.

Чем, каким таким обаянием, каким чарующим словом тщедушный пророк из Назарета обольстил сердца своих последователей?! А теперь его приверженцы расплодилось не только по Иудее, Израилю и Самарии, но в Сирии, Месопотамии, они есть даже в Египте и далекой Ливии. Неужто только обещаниями благодной и просветленной жизни в загробном мире смог он привлечь сердца людей?! И еще призывом «любить ближнего своего, как самого себя», он умаслил людское тщеславие. Да и каком-таким праведном мире толковал он, зачем порицал в угоду черни жизнь достойных персон, возводя в пример поступки бескорыстных голодранцев?! Да, зерна раздора дали обильные всходы! Но рука Мойши не дрогнет, искореняя скверну, как и не дрогнула бы она, окажись перед ним тот – голубоглазый, скиталец из Назарета, жаль, что он уже мертв...

– И пусть, – злобно произнес Мойше вслух, – я еще раз казню его, безоглядно изничтожая последователей Лжемессии. Я изгоню всякую память о нем! Люди вовек забудут Иисуса из Назарета, я сотру сам факт его пребывания на Земле!

Тем временем постоянный двор просыпался, звуки человеческой речи наполнили стан, приводя все округ в неукротимое движенье. Засновали водоносы, едкий дымок из печей донес запах варева, погонщики, ездвые, и прочая многочисленная челядь приступила к выполнению своих неотложных обязанностей.

Но вот раздался тяжелый топот и легионеры, на ходу облачаясь в выцветшие кожаные доспехи с тусклыми бляхами, толпой вывалились из саманного закута.

Мойше наметанным глазом нашел старшего из них. С льстивой улыбкой приблизился он к мрачному ветерану. Встав несколько поодаль, остерегаясь наступить на длинную тень римлянина, он проговорил елеинным голосом:

– Если господин разрешит, то я смиренный иудей буду следовать за его отрядом на расстоянии броска копья? Я знаю, господин милостив, он не позволит, чтобы разбойники зарезали мирного иудея по дороге в Дамаск?

Мойше достал из-за пазухи жирно блеснувшую монету и протянул ее легионеру.

Тот жадно схватил деньги и скорее сплюнул, чем произнес:

– Можешь идти за нами, пёс...

– Благодарю господин – покорно ответил Мойше, всем своим видом выражая почтение и полное повиновение римлянину. Но в то же время, оставаясь себе на уме, хитрый еврей подумал:

– Чего только не вынесешь ради благого дела. Поганый язычник не признает во мне человека, но я стерплю, я все снесу на своем пути воина Яхве.

Многие паломники и торговцы последовали примеру Мойше. Мошна центуриона скоро наполнилась тяжелыми монетами. Старый рубака был милостив. Пусть псы и шакалы тащатся позади, ведь это ничего не будет стоить солдатам прокуратора.

И вот тронулся странный караван... Впереди, растянувшись длинной цепочкой, по двое, по трое шагали легионеры, утреннее солнце блестело в их позеленевших нагрудниках и наплечниках. Солдаты тяжело ступали натруженными долгими переходами ногами, шли враскачку – им некуда спешить, дойдут когда-нибудь, весь мир и так принадлежал им. Чуть сзади двигалось несколько повозок с поклажей центурии. Мрачный командир возлежал на одной из них, его взор бесцельно устремлен в зенит, ничто не бередило его чувств, их у него попросту нет. Позади воинов, отстав на полстадии, кучно двигались люди, вьючные лошади, верблюды с огромными тюками. В той гомонящей, разноязыкой толпе шел и Мойше, ему нельзя выделяться, ему напрочь заказано привлекать к себе любопытных.

Посмотреть со стороны: бредет по песку и щебню ничем особо не примечательный молодой иудей в грубом плаще, с высоким посохом в мускулистой руке. Он вежливо отвечает на вопросы соседей, изредка утирает со лба и щек обильный пот, да время от времени поправляет тесемки заплечного мешка, что так больно режет плечи и ключицы.

Продвигались они без остановок до полудня, отстать никому никак нельзя, больной или увечный – терпи. Наконец сделали привал у придорожного колодца. Легионеры, раздевшись догола, поливали друг друга водой, гомонили и безудержно брызгались. Паломники и караванщики безропотно ждали своей очереди, потом и они утолили свою жажду. Переждав полуденный зной, разномастная колонна опять тронулась в путь и шла уже до самого вечера, сделав остановку на ночлег в очередном придорожном караван-сараяе.

Мойше, получив отведенное место, в отличие от прочих путников, не рухнул ничком на циновку. Съев сухую лепешку и запив ее прогорклой водой, он незаметно вышел за ворота постоялого двора и направился к давно примеченным кибиткам скотоводов-кочевников. По их характерным конусообразным очертаниям он распознал один из родов Исаакова племени, и вознамерился побеседовать с его старейшинами. Разузнать у них – проникло ли учение Христа в их шатры, незамутнено ли еще одно из колен Израилевых от плевел, разлетевшихся ураганом по всем весям? Или уже парша проказы проникла и сюда?!

Не едина заблудшая овца встретила на его пути, не одну общину успел он заподозрить он в измене. Конечно, теперь так просто им с рук не сойдет, грядет неминуемая расплата и он, Мойше, ее провозвестник.

Малиновый шар солнца только что спрятался за коренастыми уступами горной гряды, полукольцом опоясавшей плато с запада. Едва последним луч светила ускользнул с горных вершин, как на землю разом слетела мягкая синева, окутав предгорья тишайшей негой и сказочной таинственностью.

Мойше заспешил к шатрам кочевников. Однако, остерегаясь быть обнаруженным заранее, он ловко выбирал складки местности. Казалось, что ему по-звериному удастся прикинуться к земле, сливаться с ней, становясь оборотнем, а не человеком. Но лишь стоило иудею приблизиться к становищу, как шаг его сделался тверд, стан распрямился, на лице залучилась мина искреннего прямодушия.

У небольшого, еще слабо разгоревшегося костра, поджав ноги, сидело несколько бородастых мужчин в длинных, ниспадающих живописными складками хитонах. Они почтительно внимали словам высокого, иссушенного годами старца с окладистой, белой, как выпаренная

соль, бородой. На впалой груди старца рельефно выделялся отлитый из серебра медальон, подтверждавший его сан. Голос вожака был чист и звонок. Мойше на мгновение прислушался, старейшина говорил о каком-то стоворе братьев против младшего – единокровного им по отцу. Совсем нетрудно догадаться – речь шла об Иосифе Прекрасном. Видимо этой древней, ветхозаветной историей старик предварял обсуждение важного для сородичей вопроса. Но Мойше уже заметили, головы старшин повернулись к незнакомцу, тому пришлось с покорностью подойти к насельникам бескрайних пустынь.

– Мир Вам, добрые люди, позвольте бедному страннику погреться у вашего огня.

Мойше был тонким психологом, не раз ему доводилось, используя вкрадчивые манеры и смиренный тон, заслужить доверие адептов нового учения, усыпить их бдительность, стать их ближайшим другом и советчиком, иные из них называли его братом, – а он затем выдавал их. Вот и теперь ему удалось расположить людей Исаака к себе. Он преломил хлеб их, он испил молоко от коз их. Они показали ему жен и чад, поведали о поголовье стад и тучности племенных пастбищ. И разделив их горести и нужду нелицемерным, как поверили люди, участием, он смог переступить грань отчуждения между недавно еще чужими людьми. Кочевники признали в нем своего и стали с ним откровенны и не таились его. А он ловко подвел беседу в нужное ему русло, словно невзначай они разговорились о пророке из Назарета, стали выказывать свое отношение к его жизни, а более, к жестокой казни, предпринятой по указке синедриона.

У исааковлян еще не сложилось осознанного отношения к новому учению. Однако им импонировали воззрения Христа на бедных и богатых, они с участием разделяли взгляды пророка на нравственное поведение и ответственность человека в этом мире. И уже открыто сомневались в том, что в делах веры всегда обязательно прав первосвященник и синклит иерусалимского храма. Но все это говорилось с чужих слов, передавалось, будто эстафета, оттуда издалека. Во многом суждения их были неточны, терялись существенные моменты учения. Пытаясь их отыскать самостоятельно, они приносили много лишнего и ненужного, но сердцевина, сущность убеждений Христа от того, в общем-то, не исказилась.

Мойше понимал, проходи Иисус Назарянин сей дорогой – более стойких последователей ему не найти. Выходило, что крамола проникла и сюда, семена опасной ереси дали обильные всходы, и пока не поздно, нужно вытоптать, взошедшие зелена. Вытоптать как можно скорей и тщательней, не дать им заколоситься и просыпаться обильным зерном.

Он постарался запомнить в лицо и по имени наиболее голосистых приверженцев «благой вести», он поднатужился заучить наизусть для будущего обвинительного приговора их прямые и искренние высказывания об обетованном спасении, о грядущем справедливом суде над живыми и мертвыми. Мойше был уверен – с его подачи, эти самонадеянные кочевники уже безоглядно обречены на муки. Вскорости воины первосвященника, а может и он сам, во главе отряда из сирийской диаспоры, явятся и вознесут карающую десницу над шатрами неверных исааковлян.

А Яхве, в лице первосвященника Иосифа Каифы отметит его преданное служение, отблагодарит достойным правоверного иудея образом. Впрочем, он сам не ищет почестей, наградой ему являлось само дело, которое он вершил со всей неистовостью, на которую только способен простой смертный.

Поздно вечером Мойше покинул гостеприимное кочевье, ушел, для виду облобызав взрослых мужчин станововища, ушел, нареченный братом, ушел, унося с собой счастье и покой, неискушенных в лицемерной подлости, людей Исаакова племени.

С чувством доброты сделанной, нужной работы он вошел под кров караван-сарая. В душе его царило ликованье, но не с кем было поделиться чувствами, охватившими его, он лишь сладостно потирал свои узкие ладони.

– Ох, как успешно, ох, как ловко он выведаль новых супротивников исконной веры! Это несомненная удача, – в инакомыслии замешан целый род?! Подумать только, если бы не он, то Храм лишился бы вскоре десятков, сотен душ своей паствы.

Сон еще долго не шел к нему. Он ворочался, поджимал и вытягивал ноги, искал место рукам, – в голову лезли выпретенные мысли, он любовался самим собой, своим умом, смекалкой, удачливостью, наконец. Он чаял себя кем-то великим, он считал себя вершителем судеб...

Но спать необходимо... Завтра предстоит еще один тяжелый переход по безжизненной пустыне, еще один шаг к упрочению дела, которому он отдал себя, иудей по рождению, но римский гражданин по имени Михаил.

Сон окутал его своей пеленой, все исчезло...

Подсознательно, еще во сне он явственно ощутил, что кто-то стоит подле него. Он очнулся. Присутствие незнакомца явственно ожгло его сознание, но может быть, то просто сонное наваждение, он открыл глаза...

Перед ним, слегка склонив голову, стоял высокий сухощавый мужчина в темном хитоне. Мойше впервые видел этого человека, ему пристало, приподнялся на локтях, взглянуть в лицо незнакомца. Что-то узнаваемое, давно отпечатанное в памяти было в том лице, осененном ниспадающими на плечи волосами, сужающейся курчавой бородкой. В темноте ночи на иудея кротко смотрели небесно голубые, чистые, словно озерная синь, глаза незнакомца. Неподдельная участливая доброта светилась в них. И тут, пораженный Мойше, наконец, осознал – кто стоит перед ним?! Но странно, он не ощущал страха или тревоги, наоборот, необычайное просветление снизошло на него. Лишь почему-то обильно потекли слезы, не ослепляя глаз, но нежной влагою омывая, очищая самую душу. И услышал он тогда тихий, печальный голос, пронзивший все его существо:

– Михаил! Михаил! Зачем ты гонишь меня?!

Мойше заколодилось от этих слов, он простер к Христу руки...

Как вдруг, все пропало. Разномастные голоса в унисон кричали: «Пожар, пожар!» За стенкой начался невообразимый шум и топот. Михаил ошалело вскочил с постели, метнулся к закрытой двери, потом к окну, освещенному алым заревом. Прикинув к стеклу лбом, он, наконец, увидел как совсем рядом со зданием вокзала, полыхает длинный бревенчатый барак. Должно станционные склады, – подумал Михаил. Натянув сапоги, он спешно выбежал из ночлежки.

Главка 4

Возбужденное состояние очевидца пожара охватило Облова. Мелко задрожали руки, внутри заскоблil безотчетный страх перед огненной стихией, знакомый, пожалуй, всем без исключения. И как хладнокровен ни будь, одной силой воли скверный этот трепет не одолеть, останься человек безучастным свидетелем все пожиравшей мощи пламени. Существует только один верный способ унять сумятицу в душе – самому взяться и помогать тушить огонь, гасить полымя вместе со всеми, всем миром.

Облов по недавно проторенной тропе поспешил к горящему пакгаузу. Его обгоняли молодые, да ретивые, но и он не отставал, совестно плестись на пожар позади всех. Народ торопился, желая, по русскому обычаю, не упустить волнительное зрелище. По дороге Михаилу удалось выяснить, что станционный склад почти доверху забит, свезенным по осени зерном из окрестных сел и деревень. Нелегко, да и несправедливо дался заготовителям этот хлебушек, у иных крестьян прямо от сердца отрывали, не считались ни с оравой домочадцев, ни с малыми детьми. Шли по проторенному пути, как тогда было принято: не до сантиментов,

а «вынь и положи»! Хлеб отправляли в промышленные губернии, нечем было кормить рабочий класс. Однако, донести до сознания хлебороба пусть и малоприятную правду, что его кровным житом станут кормить рабочих, что тогда не замрут заводы и фабрики, что, наконец, города не паразиты на теле земледельческой страны – мало кто умел. Да и хотели ли, научились только отбирать, под угрозой посадить или даже лишит жизни?

До Михаила долетали куцые обрывки чужих фраз, народ, конечно, понимал, что хлеб подожгли намеренно, сработала чья-то протестная, или просто ненавистническая натура – не себе, не людям... Поэтому зло костерили поджигателей: «Креста на них, иродах, нет – зерно палить?!», тут же попутно ругали незадачливых складских сторожей. За одно досталось и халатным властям, во время не обеспечивших вывоз зерна. Но встречались и такие, кто злобно усмехался про себя, – мол, так вам, большевички, и надо, нашлись, понимаешь, хозяева?!

Полыхал дальний от вокзала угол. Жаркое жадное пламя, с тяжелым гудом ворочая рваными, желтыми языками, ненасытно отхватывало все новые и новые куски от крыши и стен. Сатанински неукротимое, оно порой подобно одуревшему обжоре, отрывало не успевшую перевариться пищу, и тогда выстреливали в небо густые клубы едкого дыма, и раздавался зловещий, неизвестно откуда берущийся шум, вовсе не вмещающий в себя лишь только грохот рухнувших балок и завалившихся срубов, звон стекла и дребезжанье железа. И следом раздавался возглас ужаса, отпрянувших людей, они разом отшатнулись, словно от взрыва, панически страшась оказаться погребенными под углями и пеплом. А безнаказанное пламя с новой, неумной энергией набрасывалось на строение. Дело осложнялось шквальными порывами ветра со стороны железнодорожных путей. При таком раскладе – минут через двадцать-тридцать от зернохранилища останутся лишь одни дымящиеся огарки. Но только ли головешки от бревен? Зловеще пахло паленым зерном. Каково подумать – горит хлеб?!

Подойдя ближе, Облов приметил, как по гребню крыши перемещалось четверо пожарных, неловко оскальзываясь, припадая на руки. Каждый был вооружен увесистым топором, Михаил смекнул, – начнут разламывать кровлю, чтобы отрезать ход верховому огню.

По щебню вдоль насыпи станционные рабочие рывками волокли пожарную помпу, с безвольно мотающей из стороны в сторону длинной рукоятью, другие путейцы тянули пожарный рукав, он рассыпался из скатки, путался у них под ногами, мужики спотыкаются, орут друг на друга. У горящих стен уже образовалось несколько цепочек из окрестных жителей, передающих из рук в руки ведра с водой. Толку от их усердия практически не было, все равно, что тушить костер чайной ложкой.

Михаил понимал, что наиболее действенный способ тушения состоит в том, чтобы не дать огню распространиться на большой объем здания, по-военному выражаясь, необходимо всеми силами локализовать горение на одном участке, а затем, методически наступая на огонь, подмять его, подавить всеми имеющимися средствами... но это все слова...

Сейчас многое решится, как скоро те парни наверху освободят стропила от подрешетника, раскидают крышу, обрубят столбовую дорогу пламени. Задача же тех с насосом и шлангами – лить воду, лить и лить, охлаждая стены и потолок, отнять у огня его силу, надсадить его...

С минуту Михаил простоял в нерешительном оцепенении, замороженный крутым норвом прорвавшейся стихии. Но вот он очнулся от гипнотизма пламени, не разбирая дороги, он бросился к пожарным, устанавливающим водяную помпу. Они уже протянули брезентовые рукава к вырытой в землю бадье с водой, теперь ладили их муфтами к насосу. Облов заледеневшими руками перехватил шланг, помогая подтянуть его через рельсы. Никто не обращал на чужака внимания, его помощь была сама собой разумеющейся. Да и самому Михаилу некогда было умиляться, он без остатка отдался мокрой, грязной, но такой нужной именно в данный момент работе. Подтаскивал пульсирующую и упруго изгибающуюся под напором воды пожарную кишку, так и норовящую отбросить человека в сторону, поддерживал рукав

на изломе, взваливая его на плечи, потом долго и утомительно качал в переменку с другими пожарный насос, стараясь не уступить в усилении своему напарнику, голосистому парню, молодецкой наружности. Михаил так устал с непривычки, что прозевал момент, когда пожар пошатнулся и стал сдавать. Облова подменил кто-то из вновь подоспевших. В изнеможении Михаил отошел поодаль, сел на брошенный обрубок шпалы. Теперь, на время, можно отдаться созерцанию панорамы борьбы с огнем.

Хваткие ребята, их число уже возросло, разломав двускатную крышу, сбрасывали стропила и горбыли обрешетника. Самый высокий из них орудовал длинным шестом, норовя побольше разворошить в самом зеве бушующего пламени, ему удалось скинуть несколько пышущих жаром бревен наземь. Снизу же, с двух рукавов упорно поливали, начавший лихорадочно метаться, расплзшийся костер, тот стрелял вверх искрами, нехотя изгибался, желая отыскать обходной путь. Казалось, вот-вот огонь опять выйдет на простор, но не так-то просто ему было перехитрить пожарных и их добровольных помощников. Толпа зевак бурно реагировала на каждый новый всполох и не успокаивались до тех пор, пока струя воды не сбивала его, оставляя после себя шипящие и попыхивающие белесым дымком огарки.

Воздух резанул нещадный локомотивный гудок, со стороны вокзала, по запасному пути подали ретиво сигналящий паровоз, с непомерно гигантской трубой. «Кукушка» своим задом почти вплотную подошла к пакгаузу. Машинисты недолго возились поверху тендера, вскоре на пожарище обрушилась тугая, все смывающая на своем пути струя воды. Густые клубящиеся столбы пара окутали крышу сарая тускло-багровым облаком. Огонь, огрызаясь, отступил, приник к обгорелым бревнам, распластался понизу, ослаб на глазах.

Внимание Облова, досель втиснутое в щоры, отделяющие прочий мир от огненной стихии, с завершением пожара, опять приобрело способность улавливать идущие токи окружающей жизни. Его поначалу заинтересовал, быстро сменяясь тревогой, шумливый гвалт головосов откуда-то с подветренной стороны. Прислушавшись, Михаил явственно различил грязную брань и угрозы, доносившиеся оттуда. Раздались уж вовсе необузданные призывы – громить, бить, крушить... Михаил встрепенулся, озадаченное любопытство разыграло в нем, он поднялся на крутую насыпь.

С другого конца пакгауза, в полутьме, рельефно пронизанной отсветами гложущего пожара, он увидел нестройную толпу, втягивающую в себя, как водоворот, новое пополнение. Михаил рассмотрел также множество подвод, словно в ожидании стоящих в отдалении. Возбужденная гудящая масса пришельцев теснила робкую кучку людей в форменных шинелях, видимо призывающих к порядку. Но вот толпа подмяла их под себя, и уже обволакивая подступы к зернохранилищу, давясь, просачивалась в него. Облов все понял – чернь пришла грабить склады, растаскивать зерно.

Михаила бросило в холодный пот, сердце лихорадочно затрепетало... Сладкий тошнотворный спазм неминуемого столкновения, неизбежного кровопролития на мгновение парализовал Облова, но вот, преодолев неподатливую тяжесть ног, Михаил решительно зашагал в ту сторону.

И разом в голове его прокрутился давешний сон. Ошпарила мысль о пророческой сущности ночного наваждения. То, несомненно, предзнаменование, – подумал он, – неужто сам Христос, снизойдя до него грешного, указал нужный путь. Михаил полностью согласен – вся жизнь допрежь была притворством, одним сплошным лукавством. Он сумасбродно потакал ложным, отнюдь ему не симпатичным идеям, лозунгам, да и всему тому миропорядку, который, Михаил понимал, вовсе не совершенен, а если быть до конца честным, так полон гнусности и лжи. Зачем?! Проще сказать, совсем не думая, дать давно затверженный ответ, – шел по инерции, закованный в вериги родовой обреченности. А как же еще?! Ведь он дитя своего класса, своей социальной среды, их, её кровные интересы – это и его приверженность. Да нет... Какие там особенные пристрастия? Неправда, нет того!

Возможно, тягостно-постоянная неудовлетворенность своей жизнью, своим местом в этом мире толкнула его в эту адскую круговерть? А что?! Будь он на своем месте, будь жизни хоть какая-то определенность, стал бы он скакать под пулями, недосыпать ночей, в холоде, голоде – воевать сам не зная за что? Дались ему отцовы жеребцы и мельницы?! Нет, ну нет у него склонности к предпринимательству, какой из него хозяин? Не вышел бы из него капиталист, а уж тем более – не получился бы промышленный воротила. А посконный удел обывателя или маразм рефлектирующего интеллигента – с детства противен ему.

Так чего он хотел в жизни, о чем мечтал, кем вождеделел видеть себя?! Вот она отмычка к его судьбе!

Он всю жизнь грезил о славе, жаждал почестей, стремился, чтобы люди боготворили его. Выходит, это – стезя Наполеона не давала ему спокойно жить?! Да, да – он всегда считал себя необыкновенным, ожидал, что неминуемо настанет тот день и час, когда свершатся его амбиции. Вот и тянул постылую и закабалившую лямку, грезя радужным будущим, сочтя настоящее лишь временным недоразумением. И оно отомстило: запутав, сковав по рукам и ногам тысячами условностей, предрассудков, обетов, и вовсе поработило своей безвыходностью.

И вот, восславим Бога, пришло отрадное просветление!

Хватит цепляться за ненужный хлам. Коварное прошлое не способно ни согреть, ни утешить, одна лишь морока с ним. Все так, но это самое старье-былье не отскочит, подобно комкам грязи от штиблет, его не отщепить подобно репью от штанин, оно вросло в плоть и кровь – его надобно вырезать, выжечь каленым железом. Сдюжишь ли?! Вот оно – настоящее испытание?! С кем ты теперь Михаил и где...? Сработает ли подсознательное чувство Правды, а если нет, то тебе уже ни чем не помочь!

Сейчас, на твоих глазах, простой, темный, патриархальный люд громит стационарный склад с зерном. Но истина явно не с ними, они заблудшее стадо или науськанные псы, и то, и те – слепые в своем невежестве. По сути, они вершат черное дело, и когда-нибудь поймут, что жестоко заблуждались. Его, Михаила, задача на сегодняшний день – наставить их на путь истинный, отрезвить их ум. Но одуревшую толпу в состоянии ажиотажа словами не пронять, не прошибить броню дремучего азарта и пещерной злобы разумной речью, да не к чему метать бисер перед очумевшими свиньями?! Значит, опять придется применить силу, опять кровь...? Оправдано ли будет такое вмешательство? Нужно ли оно вообще именно сейчас, в данный момент? Как сказать...? Но оно необходимо самому Михаилу. Нельзя стоять в стороне, выбор сделан!

И чувство окончательно принятого решения придало Облову силы. Он вздохнул полной грудью, почувал, как мышцы налились свинцом, как в душе укореняется твердость, ощутил напрочь исчезнувший страх перед бурлящей стихией толпы. Михаил явственно видел правоту выбранной позиции и впервые за много лет душа воспарила, он возликовал, его жгло нетерпение, какое-то экстатическое неистовство вскипало в нем.

С ходу, дерзко врзался он в неуступчиво сбившиеся тела мужиков, сразу и не разобрав, кто здесь отъявленный злоумышленник, а кто безмозглый ротозей. Но в целом, они все заодно, безумие парализовало их неискусшенные мозги, и уговорами тут не помочь. Грубо, тумаклами расчищая себе дорогу, получая и сам здоровенные тычки в спину, он протиснулся в середину людского скопища. Продолжая настойчиво работать локтями, он, наконец, пробился к намеченной цели. Вот она – почти доверху нагруженная мешками подвода. Коренастый, по глаза заросший бородой матерый бугай-селянин, широко, по-хозяйски расставив толстые ноги в смазных сапогах, наставительно указывал двум парням, как лучше пристроить очередной чувал. И тут Облов услышал исполненную самоуверенности фразу:

– Ну и работнички, ядрена вошь, без хозяина ни шагу ступить, – и кулачина протянул раскоряченные пальцы к мешку...

Михаил, спешно подался вперед, решительно ухватил мужика за руку:

– А ну-ка постой дядя! Вели скидывать мешки! Кому говорят, скидай, сука!

Амбал незряче вылутился на Облова, и вдруг, захлебываясь от ненависти, гундоса возопил:

– Ребята! Тута какой-то гад не велит мешки грузить! Он, что озверел падла?! Робя, уймите комиссара! Будя ему глотку драть! Не боимся теперича ихнего крику! Уймите его мужики по-хорошему. Не хочу сам руки марать о гниду голопузую! Чего ждете, ... вашу мать?!

Длинный парень в чуйке было сунулся, но мигом получил короткий удар по кадыку, храбрец слепо схватился за горло и в корчах рухнул на землю. Облов отпрянул спиной к телеге, принял боксерскую стойку. Безликая, разъяренная свора мужичья, опьяненная своей безнаказанностью и круговой порукой, молча, медленно надвигалась на него. Облов выпрямился, заложил руку за борт пальто. Боковым взором усек, как гундосый битюг, выпростав из телеги увесистый шкворень, заносит его вверх.

– Стоять! Ни с места! – гаркнул Облов. – Стоять, кому сказал! – и выхватив револьвер из-за пояса, остервенело потряс им.

Толпа несколько смутилась, встала, выжидающе поглядывая то на Облова, то на дородного мужика с занесенной железякой. Тот, почуяв смятение корешей, визгливо закричал, срывая глотку:

– Ребята не бойся! Бей его мужики! Ишь гад пистолю достал, думает, нас на дурака взять?! Чего стоите мужики, чего засрали?!

Толпа опять набычилась. Отъявленный кулачина потрясал своим прутом. Михаил ощутил себя великаном. Ему уже было все равно. Он уже презирал сгрудившихся перед ним тупых мужиков, оставалось только поставить их на место. И потому, намеренно спокойно, даже не повернув головы в сторону оравшего кулака, слегка шевельнув кистью, выстрелил тому в отвисший живот. Шкворень выпал из рук громаилы. Глаза его белесо округлились. Он тонко заскулил, схватился, словно беременная баба за пузо, обвел взором оторопевших мужиков и заключил плаксивым голосом:

– Робя, он меня убил! – свалился наземь, задергав ногами.

Толпа ошалело попятилась и вдруг, заголосив, суетливо толкая друг друга, бросилась в разные стороны. Однако, отбежав метров на десять, крестьяне опять вкопано встали. Нерешительно переступая ногами, урывками переговариваясь меж собой, они исподлобья, уставились на Облова, ожидая дальнейших его действий.

Михаил, не обращая внимания на упертых мужиков, вскочил на телегу, подхватил вожжи и направил воз к воротам пакгауза. Он намеренно устремил лошадь на стоявших у ворот пакгауза смутьянов, прикрикнул на них, велел расходиться.

Но люди стояли. По-видимому, еще не до всех дошло, что Облов призван осуществить здесь порядок. Михаил с руганью, подъехал к дверям, развернул телегу, перекрыв выход, сам же спрыгнул внутрь склада. Тьма резанула его глаза, он невольно попятился, но преодолев неловкое замешательство, прокричал в гулкое пространство:

– А ну, бросайте мешки, выходите вон отсюда! Скорей выходи, не то стрелять буду!

Внутри завозились, недовольно загалдели, но никто не вышел. Тогда Михаил произнес безапелляционным тоном:

– Если через минуту не уйдете, всех перестреляю к чертовой матери! – и два раза выстрелил в потолок сарая, потом быстро дозарядил барабан револьвера. Внутри пакгауза произошла небольшая возня и несколько голосов разом заверещало:

– Начальник, не стреляй, не стреляй Христа ради, сейчас, уже идем...

Михаил чуть двинул телегу, освобождая узкий проход. Вогнув головы, покорные мужики покинули недра пакгауза, не оглядываясь на Облова, поспешили раствориться среди остальных погромщиков.

Михаил же, выйдя перед воротами, властно, по-командирски обратился к мужикам, приказывая им расходиться по домам, оставив все, как есть. Ибо знал по опыту, что потом найдутся, кто приведет все в порядок: снесут хлеб под крышу, уберут покойника...

И тут, будто плетью ожгла кожу, точно электрический разряд прошелся сквозь тело. Волчьим чутьем Михаил ощутил себя на мушке. Мигом, отпрянув в сторону, он лишь узрел короткую вспышку выстрела. Облов прекрасно понимал: теперь стоит лишь малость продешевить, озверелая толпа мигом разорвет его. И он, даже внутренне не успев пожелать себе «с Богом!», разъяренно бросился в сторону выстрела, подсознательно сделав телом ловкий финт. Облов увидел перед собой невысокого человечка в долгополой солдатской шинели, тот нервно держал заевший затвор винтовки, безумно уставясь на Облова, выросшего перед ним. Михаил навел ствол револьвера. Низкорослый выронил винтовку, обнажив белые зубы, издал протяжное, погребальное – «А-а-а-а-а!!!». Толпа разом отшатнулась, оставив мужика одного. Пуля вошла прямо в середину лба. Народ заворожено ахнул, некоторые даже сняли шапки.

– Батюшки! – первозданно чисто раздался чей-то ликующий возглас, прорезав напряженную тишину, словно первый крик петуха поутру. – Братцы, да это сам Облов! – Голос залился соловьем. – Михаил Петрович, Ваше благородие..., – навстречу Михаилу вынырнул, обнажив плешивую голову, благопристойный старичок в крытой драпом шубе, чем-то походивший на попа-расстригу. Поравнявшись с Обловым, он по-птичьи захлопал руками по своим бокам, пытаясь унять охватившее его возбуждение и внезапно охватившую немоту. Но вот справившись с вздорным языком, дедок, обращаясь к заинтригованным крестьянам, прокричал словно молодой петушок:

– Чего встали болваны? Идите отсель! – И вознося кверху дрыгающий перст, срываясь на фальцет, заверещал. – Не видите что ли дурни? – Сам Облов! Сам господин Облов перед вами. Али забыли сукины дети, али не знаете его? – и уже с угрозой добавил. – Вам, что жизнь не мила?

С полупоклоном обратившись к Михаилу, радушно пролепетал, – Михаил Петрович, господин подполковник, какими судьбами в нашу-то глухомань? Михайла Петрович, сколько лет, сколько зим...?! – и оглянувшись на застывших мужиков, погрозил им маленьким кулачком.

В старичке Облов узнал одного из бывлых компаньонов своего отца Ярыгина Якова Васильевича. Они торговали с отцом хлеб в Ельце и Рязани. Потом сам Михаил не раз по делу посылал к Ярыгину своих ребят. Яков Васильевич, правда артачился, но просьбы исполнял, знал, что можно пожить за счет Облова.

– А, дядя Яша – здорово! – Облов, переложив револьвер в левую руку, торопливо поздоровался со стариком. – Как жизнь, не болеешь, Яков Васильич? – и еще что-то сказал, так, лишь бы не молчать.

Оторопевшие мужики окончательно поникли, нашлись даже такие, что не преминули подлизаться, слышались вполне благоразумные речи:

– Так бы и говорил, что Облов явился. Мы почему знали, кабы знать, не стали бы перечить?! – и разом покорно залепетали. – Да нешто можно связываться, себе дороже. Да на кой хрен нам супротив Облова идтить-то? Облов-то, он, брат, как черный ворон – везде поспеет. Один хер, мужики не видать нам этого зерна! Все равно отберут! Пошли ребята, пойдем от греха! – И в завершении пропел уж вовсе молоденький голосок. – Валяй христиане по домам, а то еще хату спалят?!

И мужичье сборище раздавлено обмякло, спало с силы, стало покорно разбредаться. Но вдруг люди тревожно встрепенулись, наострились, вытянули шеи.

И как шквал, разом со всех сторон, раздалась панические возгласы: «Милиция, солдаты, чека! Тикай, братва, уходим!» Народ, припустился бежать, заржали испуганные лошади, пискляво заверещали неизвестно откуда взявшиеся бабы.

– Михаил Петрович, а Михаил Петрович, – Яков Ярыгин дернул застывшего Облова за рукав пальто, – мы-то как? Пойдем ли нет? Может, ты уж комиссаром каким заделался, Бог тебя знает?! Тогда уж извини меня дурака, я ведь попросту, по-отечески, увидел тебя и подбежал.... Тогда я пойду? Ну, их к вихру, еще подгребут под горячую руку, потом доказывай, что не рыжий.

– Постой Яков Васильевич, я с тобой.

И они побежали во тьму. Вдогонку им несея дробный топот конских копыт, редкая пальба, да разухабистый мат конных чоновцев и милиционеров. Но лошади и их седоки должно боялись ночной мглы, углубляться в темень не стали. Топот и мат стали глохнуть и вскоре совсем растворились в ночи, лишь изредка, сломанной сухой веткой щелкал одиночный выстрел, но и он был уже сам по себе.

Главка 5

Яков Васильевич и еще несколько, примкнувших в переулках, мужиков вывели Облова на околицу села. Крестьяне, придя в себя от погони, разглядели в таком же, как и они, беглеце грозного Облова. Они нерешительно отошли в сторонку, заговорить не отважились, но чего-то настороженно выжидали. Ярыгин опять взял Михаила за рукав и потянул за собой. Михаил не сопротивлялся, словно слепой безвольно пошел за стариком как за поводырем, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша. Яков Васильевич по-приятельски похлопал его по плечу:

– Залазь, усаживайся Михаил Петрович – в гости ко мне поедем!

Очнувшись от внезапно наступившей минутной слабости, Облов разглядел запряженную парой коняг телегу, доверху уложенную мешками со складским зерном. Он недоуменно остановился, и обескуражено развел руками, а затем, как подъеденный за зиму сноп, подломился, ткнулся безвольно вперед, благо придержала телега. Михаил уперся локтями в мешки, уронил голову на руки, его плечи конвульсивно затряслись. Он зашелся толи в истерическом смехе, толи в удрученных рыданиях. Ярыгин недоуменно смотрел на Облова, его удивила и поразила ранее не присущая атаману малодушная истерика.

– От чего ушел, к тому и пришел, – выдавил Михаил сквозь сжавший горло спазм, потом скептически засмеялся, – ха-ха! – И уже вопрошающим тоном, неистово произнес.

– Видать, мне на роду написано быть не с Тобой?! Не я гоню Тебя, а ты, Сам – Господи, меня гонишь. Зачем, Ты гонишь меня, Боже?!

– Михаил Петрович, ты чего? О чем ты, Миша?! – Яков Васильевич положил руку на подрагивающее плечо Облова. – Да чего ты в самом-то деле, что с тобой приключилось? – и, повернув голову к недоуменно переступающим крестьянам, вопросительно произнес. – Чего-то я, мужики, не пойду? Никак в толк не возьму?

Как долго добирались до подворья Ярыгина, какие места проезжали Михаил не помнил.

Оттаял он душой, ощутив неумолчные токи жизни, лишь в ладно обустроенном доме Якова Васильевича. Особенно повлияла умиротворению Михаила хозяйка – Аграфена Филипповна. Милая, ласковая старушка, чем-то напоминавшая ему мать, воскресила в его сознании доброе старое время – детство.

Бывало, он тогда, уже подросток-реалист, порядком отошав на казенных харчах, на летних вакациях «наедал шею», как подшучивал отец. И восстала в глазах эта картина... Мать, собрав на стол, садилась поодаль, сложив мягкие руки на коленях, умиленно взирала на свое чадо. В ее ясном взоре светилась тогда еще не особенно ценимая материнская нежность, порой перемежаемая налетами тихой печали. «Ешь сынок, кушай родненький, – никто так не накормит как мать в отчем доме. Кушай сын, набирайся крепости и силы, как там еще сложится жизнь впереди – неизвестно, а пока ешь...». И он ел, жевал, так что за ушами трещало. Потом оглашено вскакивал, забыв поблагодарить мать, убежал на улицу, гоняться с приятелем.

лями. Он торопился вкусить всю полноту непритязательной деревенской жизни, жадно, ненасытно поглощал ее дары: лес, речку, рыбалку, ночное. Он испытывал ненасытный аппетит торжества бытия, казалось, вот ухватился бы за один тогдашний день, вцепился обеими руками и держал бы, не выпуская; вдыхая, впитывая всеми фибрами души эту привольную благодать. Эх, так бы жить и жить! Но время коварно быстротечно, внезапно каникулы подходили к концу, предстояло собираться в Козлов, в училище. И горше не было тех унылых сборов. Щедрая августовская природа, исхоженные вдоль и поперек окрестности, с измальства испытанные товарищи манили новыми радостными приключениями. Но он был уже чужой им, отверженный не по своей воле и не по воле отца с матерью. Какие-то зловещие силы вершили над ним равнодушный приговор, отрывая его от родного дома, друзей – всего близкого и потребного душе, без чего никогда не стать счастливым, без чего вообще нельзя радоваться жизни.

Вот и сейчас, Аграфена Филипповна участливо подперев ладошкой щеку, присев возле Михаила, подкладывала на тарелку ему лучшие кусочки, с извечным трепетом матери-кормилицы, радуясь жующему дитяти. Милая идиллия. Она ни о чем не раскрашивала Мишу, ни как не поучала его, сказывала лишь о домашних нуждах, да собственных немочах. И оттого, что не посягали на его внутренний мир, что в доме Якова Васильевича царило воистину библейское согласие, что сама хозяйке чуточку походила на его матушку, – Михаилу Петровичу сделалось покойно и хорошо.

И отошла куда-то вдаль непутевая, взбаламученная судьбина. И не ощущал он себя больше затравленным, обложенным со всех сторон волком. И не казалось ему, что он по глупому недоразумению пребывает среди живых, а на самом деле уже конченный, списанный со счетов человек. Наоборот, он не чувствовал неизбежности краха, наоборот, вся жизнь, все ее трепещущие порывы и страсти еще впереди. Невольно вспомнил он князя Андрея и сцену у старого дуба из «Войны и мира». И вослед Болконскому широко вздохнул и впервые за много лет просто и ясно подумал: «Нет, не кончена жизнь в сорок лет?! Совсем не кончена! Еще много предстоит увидеть и познать: и хорошего и плохого. Как все, как у всех, так и у него?!». От этой незатейливой мысли сделалось ему весело, и совсем не хотелось думать о давешнем пожаре на станции, о двух походя загубленных душах, о сумбурном вещем сне, о собственном бессилии, охватившем на окраине села, о ропоте на Бога.

Сейчас Михаил твердо знал, что он вовсе неподвластен воле придуманного злого рока, его судьба в его же руках, и как он повернет, как поведет себя, так и будет.

На участливый вопрос Якова Васильевича: «Куда ты теперь пойдешь?», – Михаил не смог дать однозначного и обоснованного ответа. Будущее, даже ближайшее завтра, двоилось, троилось перед мысленным обозрением, принимая столь дикие формы, что Облов, не желая выглядеть промозглым дураком, неопределенно взмахнул рукой, этот знак должен означать – «там видно будет». Ярыгин же на удивление безропотно склонил голову и по-старушечьи поджал губы, показывая видом своим, что вовсе не любопытен.

А Михаилу почему-то вдруг с неодолимой силой захотелось излить душу близкому и страдающему тебе лично человеку. Ведь дядя Яша знал его еще вот такусеньким (с табурет) пацаненком, не раз пестовал на коленях, не раз гладил по русой головке. И немного помедлив, Облов решил открыться старику. Признаться в том, что находится на перепутье, и уж как говорится: «Куда ни кинь – везде клин?!».

Яков Васильевич, не перебивая, выслушал исповедь Михаила. Ну, а когда тот напоследок поведал свой пророческий сон и предпринятую следом искупительную попытку, старик взволнованно распростер руки:

– Миша, зачем ты так мучишь себя, для чего, помилуй Господи? Ты ведь не один такой?! Вся Россия вздыбилась, попробуй, уразумей, – какие страсти творятся на белом свете: брат на брата, сын на отца.... А уж лютуют-то как, откуда, только звериная злость-то берется? Замордовали, зашпиговали друг друга.... Поди, теперь разбери, – кто прав, кто виноват? А,

по-моему, – так нет их виноватых-то, все жертвы. А уж если каяться, то всем, каждому следует повиниться, в том, что допустили, что докатились до ручки, – вот тогда и будет справедливость, тогда и настанет мир промеж ладей. А так как ты рассуждать нельзя. Коли одни виноваты, то, выходит, другие правы?! Так не может быть. Выходит, тогда можно надругаться над неправыми, возомнить себя безгрешными судьями, короче – стать палачами. А ведь это великое зло, нельзя, заповедано размахивать кнутом над ближним своим, это смертный грех.

– Вот, вот Яков Васильевич, это я сам с плеткой-то всегда! И вчера, опять с кнутом, только с другой руки лупцевал. А кого наяривал, да того же мужика. Обрызла мне такая жизнь. Против комиссаров шел – выходило, что против народа иду, вступился на станции за большевистское добро, опять получается – поперек мира встал. Где же правда?

– А правда, Мишенька, она завсегда посредине. Истина она в гуще народной пребывает. Вот так-то Михаил Петрович. Думаю, стоит прислушиваться к чаянью простых людей, крестьян, городских обывателей, держаться этих самых, казалось бы, ничтожных людишек. А господчики всякие, то бишь власти, они над людьми стоят. Всякая, какая она ни наесть власть простому люду не matka, а злая мачеха – о себе только радеет, под себя гребет. Да и понятно, зачем иные властвовать хотят, в том и барин, и босяк одинаковы – захребетниками желают быть, «эксплуатировать» остальных людей. Что – не прав я?! Тут и выходит, власть, она не от Бога людям дана, скорее чёрт ее нам навязал?!

– Да, в основном ты прав, конечно, во многом прав. Корыстолюбие правителей – притча во языцех, но ведь есть и честные люди? Я вот, что подумал, – большевики, они за народ радеют. Возьми, опять же, вчерашнее зерно – голодают же люди в городах, как не помочь?

– Эх ты, Михаил Петрович, чему тебя в Питере-то учили, для чего сам-то ты мыкался по белу свету, неужто так ничего и не понял!? Да врут все их газетенки, да и нет там совестливых людей. Окажись таковой человек, ему не удержаться, мигом сгорит, – цацкаться не станут, жалости у них нет. Кырла Мырла ихняя все по ноткам расписала и по полочкам разложила: диктатура, одним словом, – красный террор, как вещают комиссары. Так, что не бывает хорошей власти, власть всегда на силу опирается, и у нее все виноваты, кроме нее самой.

Выходит Яков Васильевич, ты считаешь, что власть существует во вред простым жителям, получается ты анархист, – Облов усмехнулся.

– Эка ты хватил! Я такого не говорил. Совсем без власти тоже нельзя. Тогда промеж людей такой разбой начнется, что только держись. Власть она для порядку дана, хотя, признаю, вершат ее дурные люди. А может быть, потому и дурные, что задача поставлена им – не дозволять протонародью лишнего. Я тебе вот, что скажу, я не против власти, по мне все едино, что царь, что генерал какой, что советы теперешние. Жить можно всегда, главное не бунтуй, делай свое дело и не лезь, куда не просят. Мудр тот, кто живет сам по себе, оно, конечно, нужно подлаживаться, уживаться – да это не трудно, совсем не трудно.

– Да я и сам вижу, зря пошел против советов. Лучше бы мне, как ты говоришь, – взять да и подстроиться, тянуть лямку тихой сапой. – Облов хитро прищурился. – А ну, ответь ко мне тогда – а зачем ты сам пошел грабить склады, не с голодухи же, выходит и ты против власти колупнулся? Что-то не сходится у тебя Яков Васильевич, или не так?

– Да ведь, не я один пошел грабить, всем миром пошли. Получается, и нет тут моей вины, я как все. Человек не может без того, чтобы не хапнуть на халяву, сам знаешь – не урвешь, не проживешь. Простота все наша – «рассейская»...

– Хитер ты, Яков Васильевич, не подловишь тебя!

– А зачем ловить, я не беглый какой. Существовать как все, думаю как все, мне мудрить не к чему, знаю одно – живи, пока живется, а там, что Бог пошлет.

– Пожалуй, ты меня убедил, старик.

– Вот и я о том же... Ты вот, Михаил Петрович, не знаешь как дальше быть? А ты сломай гордыню, да и живи как все. Притулись к этой, черт ее задери, власти, женись, обзаведись

хозяйством. Жалко, разумеется, батюшкиного наследства нет. Отняли все, ну и ничего, начни сызнова, не ты один... А там детки пойдут, и будет тебе радость. Живи просто, выкинь всякую шелуху из головы, оно так лучше будет.

– Да уж, прозябай, обывательству, плоды безмолвных скотов...

– Ты зря так о людях? Не скотов, а рабов божьих, – разницу разумеешь?! Людей, чело- веков – в человеке вся истина и есть...

– А я считал допрежь, что истина в том, чтобы убить в себе раба!?

– Да кто тебе сказал-то об этом? Сам-то навряд дошел? Звучит красиво, а смысла то и нет. Кто научил такой ерунде?

– Был один такой, – Чехов, писатель, да ты все равно не знаешь...

– А ты не живи чужим умом. Все эти слова в одно место воткнуть! В жизни – главное приспособиться. Ласковое телятко две матки сосет, так-то вот...

– Складно гуторишь, Яков Васильевич, только все это вокруг, да около. Ты вот присоветуй, как мне сейчас поступить, в моем-то конкретном положении, ведь я как бы вне закона теперь состою?

– Ну что же... Я думаю так – поезжай ты, куда глаза глядят. Рано, поздно сыщется местечко, что любо будет душеньке твоей, там и останись, там и притулись.

– Этак я, дядя Яша, век буду искать то заповедное местечко. Я, может быть, и так его всю мою жизнь ищу, полмира исходил, ан нет – не напал еще. Понимаешь, надеюсь, меня?

– Чудной ты человек, Михаил Петрович, словно дитя малое. Да выправь ты себе справ- ный документ, не думай ни о чем, да и не морочь себе и людям головы...

– Все-то на словах ловко получается, а коснись, – чёрта с два?! Как это не думать, на то и голова дана?

– Бог тебя знает Михаил Петрович, блаженный ты что ли, али тронутый или контужен- ный – не пойму? Давеча налетел на мужиков, как коршун какой, я-то подумал, не новый ли комендант объявился или с чека большой начальник? Лихо у тебя вышло! Пригляделся, батюшки, так то-же Облов?! Ой-ей-ей, как он тебя путает-то – враг рода человеческого?! Грех один, да и только! Может тебе взаправду покаяться надо? Сходить в Троицу, али лучше к Печерским угодникам в Киев, а что, говорят, здорово помогает. Да, одно скажу, закидать тебе паря никак нельзя, пропадешь ни за понюх табаку, пропадешь.

– Выходит, дед, мне надо скорее когти рвать!?! Хорошо мы с тобой Яков Васильевич потолковали, – съёрничал Облов, – все вокруг, да около ходили. Ты вот мне одно скажи, – будет ли какой толк от меня, стоит ли вообще мне жить-то? А то болтаем как попки по- пустому...

– Вот тебе, жопа-новый год, опять заладил старую канитель?! Конечно, стоит Миша, нужно сынок, любой человек должен жить, как бы ни напутлял он в жизни. А насчет толка...? Так не нам Михаил о том судить, есть для того у нас наверху судия. Я же так скажу, по мне, – в любой жизни есть толк!

– Да, да! «Есть высший судия, он не доступен звону злата». Старая песня... Ну, да ладно, прощевай старик. Спасибо, что помог мне, ну и добрым словом ободрить старался. Пospешу, а то еще твои соседи стукнут на меня, погоришь ты со мной, не дай Бог?

– Ну, этого ты Михаил Петрович не бойся. Они у меня вот где! – и старик твердо сжал сухонький кулачок, потрясая им.

– Ну не скажи, Яков Васильевич, вот в нем-то и весь корень заключается, – Облов кивнул на кулак старика. – Стукнут, чтобы, значит разом – и от Облова, и от тебя избавиться. Это ведь ты полагаешь себя их благодетелем, они так не считают, для них ты кулак-мироед.

– Не заслужил я, обижаешь Михайла Петрович.

– И в мыслях не имел, правду говорю. И еще, что думаю, – сошлись вот кулак-мироед с убивцем-душегубом, калякают как следует им дальше жить поживать. Кулак тянет одно –

надо по-прежнему. Убивец, тот наакался кровушки больше чем не хочу, пора бы и в кусты, да ручищи по плечи замараны, за версту горят. Он бы их рад отмывать, отмолить, да не смывается кровца, нету пока такого мыльца, не изобрели, нет такой молитвы – не сочинили. А может еще изобретут, напишут, может мне стоит подождать до времени?!

– Бог с тобой Михайла Петрович, плетешь не знамо что. Я вошел, так сказать, в твои нужды и скорби, советую по мере возможности. А ты вон как хватил, по-твоему, мы одного поля ягоды? Да нет, помилуйте, переборчик у тебя Миша. Я-то людей не казнил, на мне крови нет. Не отрицаю – грешен, люблю деньгу зашибить, люблю, а чего мне стыдится? Но в смерти людей не виновен, вот и весь мой сказ. А ты, Михаил Петрович, – злодей! Ты послушал бы, как люди-то тебя величают, вот тогда и ровняй меня с собой. Ты, Облов, – бандит и убийца, ты насильник! А я, Яков Васильевич Ярыгин, – старик приосанился, – ну и пусть, что мироед, пусть кулачина недорезанный, да от меня людям-то польза, а от тебя один разор. От такого, как ты одно разорение, будь ты белым, будь ты красным, будь ты серо-буро-малиновым. Скажу хуже, – ты просто бандит с большой дороги – ни дна тебе, ни крыши. И ты сам знаешь, что нет тебе прощения, одна у тебя участь, вот и мечешься, вот и скулишь тут. Уходи ты от меня скорей, ну тебя к лешему...

– Гонишь, выходит, Яков Васильевич, и правильно, – гони!? Не место мне в твоих хоромах. Да только учти, что пролитая мною кровь и на тебе. Посмотри, взгляни в свои кубышки, ведь и тебе перепало от моих щедрот? То-то же, старик, и не щерься как вурдалак, одним дерьмом мы с тобой мазаны. Да и о власти ты мне басни загибал: ишь ты, – не бунтуй, приспособься... Только, если я явный враг был советской власти, то ты ее тайный недруг. Подчеркиваю, – я был, но сейчас я совсем не противник ей, а ты – был и есть ее вражина, она тебе поперек горла будет всегда. Слышишь меня, – всегда ты будешь ее враг! И ты худший душегуб, – я бил людей наповал, а ты тянешь из них жилы, да еще смакуешь при этом, – благодетель, мол, я ваш, любите меня! Ну, хватит, – поговорили, ухожу. Возьму у тебя коня, где у тебя седло? Это ты правильно поступаешь, что не перечишь мне, попробовал бы ты мне отказать?! Со мною шутки плохи, мне ведь ничего не стоит тебя кокнуть, хоть и на руках ты меня носил. Нет во мне ничего святого. Так и передай своей бабке, – зря она меня жалеет, нечего меня жалеть, такого не жалеть надо, а, – Облов безнадежно отмахнулся рукой, – к нулю сводить. Да уж...? Ну, показывай где у тебя упряжь лежит?

– Бери, хватай, грабь старика! Не накомиссарил должно на пожаре-то? И где совесть-то твоя?

– Не нам Ярыгин с тобой о совести гуторить, не нам... Ни у меня, ни у тебя ее просто нет. Ушла, покинула нас совесть, да и где ей обитать-то? Души-то у нас ведь нету! Вот такие пироги выходят Яков Васильевич. Пошли, пойдём старик на конюшню, поможешь запрячь. Идем, чего губу надул, не красна девица. Иногда полезно правду про себя послушать – и тебе и мне, так что мы с тобой в расчете. Пошли, не тяни время...

Главка 6

Белесое, хмурое утро простерлось над заснеженными полями. Неужто приспела настоящая зима? Облов боготворил ее приход. Он чтил ту пору, когда кипенно-белый снег саваном укрывает надоевшие дорожные хляби, опушивает скелеты ветвей, присыпает мертвую листву под ногами, тем самым делая окружающий мир из тоскливо удрученного, испустившего, казалось бы, весь дух, сызнова наполненным токами жизни. Ну и пусть, что это время отдохновения для природы, быть может, та чарующая передышка коснется своей воскрешающей дланью и человека, то есть его самого? Издалека, словно по наитию, набежали священные для каждого русского строчки Пушкина из пятой главы «Онегина»:

Зима!... Крестьянин, торжествуя.

На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;

Облов уже давно отпустил поводья, грех гнать по первому снегу. Сытый коняка Ярыгина, пригибая узкую башку к земле, принохиваясь к мягкому насту, неторопливо брел, местами оставляя зачерневший четкий след. Изредка он смешно вспрядывал ушами, должно фиксируя звуки, пока еще недоступные человеческому слуху.

Где-то там впереди раскинулся большой уездный город. Там нещадно дымят заводские трубы, раздаются ретивые паровозные гудки, там безостановочно кипит жизнь множества людей, в большинстве своем занятых нужным делом. Ну, а тут, в степи царит мертвенная тишина, белое безмолвие среди разливанного моря снегов под неуютным сереньким небом в вышине.

Михаил слегка взнуздal коня, жеребец, закивав мордой, расплескивая блестящую лаком гриву, рысцой поспешил вперед. Облов, стряхнув с души груз тошных мыслей, с любопытством разглядывал накатывающую панораму простенького пейзажа. То приоткроется широкий покаты́й лог, заверченный ощерившимся оврагом, с грязно-коричневыми стенами, то промелькнут, сбившиеся в кучку, корявые стволы дубовой рощицы, то совсем уж вдалеке развернутся, засинеют, заполнят горизонт тени толи садов, толи лесов, столь притягательных для степняка.

Но вот они оказались на высоком, обрывистом крутояре. Приволье, неохватный простор открылись им. Внизу, в густых зарослях пожухлой осоки, плескалась невидимая речушка, чуть вправо стелился дым, исходящий из труб приземистых домишек, стиснутых плодовыми деревьями и щербатыми плетнями. Левее, но несколько верст раскинулась речная пойма, которая сливалась с широкой поймой другой, явно большей реки. Панорама открывалась необозримая, окрестности просматривались чуть ли не на двадцать верст. Ясно различимы маковки далеких церквей, сползают с холмов дымчатые кудряшки прибрежных рощиц, тускло желтеют еще не свезенные стога, петляет длинная змея железнодорожной ветки, прочерчивая всю местность с юга на север. А там дальше, за другим, нависшим за поймой холмом, спрятался город. Но рано или поздно он откроется взору: и своими точеными колокольнями, и дымящими трубами, и разноцветными лоскутами крыш. Город откроется, чтобы втянуть в себя, замешать в своем вареве, запрятать в своем чреве.

Облов обнадежено вздохнул. И вдруг, его неприятно ожгло невесть откуда взявшееся подозрение. Он торопливо дернул ворот френча, принялся шарить за пазухой, затем пробежал по наружным карманам, потом взялся ощупывать подкладку пальто, стал охлопывать свои бриджи по ляжкам.

Так и есть, пропала?! Потерялась?! Должно быть, нечаянно оборонил на пожаре, больше и негде? Жалко, уж довольно ценная была вещичка. Да к тому же, я возлагал на нее особые надежды, покаяться собирался?! И вот, нате вам, – сгинула! Впрочем, так оно и лучше? Развязала мне руки, а то еще её пристраивать, где то нужно...? Бог с ней! – Облов ощутил, что ему ничуть, не жаль брильянтовой панагии. – Видать, туда ей и дорога...

И словно тяжелый камень спал с души. Михаил привстал в стременах, пристально вгляделся в незнакомую, но такую привычную и близкую до боли в сердце картину. Родная Тамбовщина: одна из самых богатых губерний России, ее заповедная ржаная житница, край исконного крестьянского изобилия, возросший на самом тучном в мире черноземе. Что же тебе принес пресловутый Декрет о земле второго Съезда Советов, с первых своих строк: «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа...», казалось обязательный, по сути своей, умилишь каждого мужика, любого мало-мальски причастного к землепашеству человека?! Ан, нет – декрет тот породил невиданное противостояние и кровь, а уж для Тамбовской земли – так прямой разор.

А почему он, Облов, тогда в октябре семнадцатого был не согласен, казалось бы, с ясной и прямой постановкой вопроса, сам-то ведь он крестьянских кровей (деды его и отец – мужики), должен же был он уяснить, принять если не сердцем, то уж разумом наверняка. Почему же он, Мишка Облов, чтобы ни говорили, – сельский парень по происхождению, отрицал это, кажись, простое, еще с отмены крепостного права чаемое мужиком положение, считал его вредным и чуждым своему духу. Какой-токой первородный провидческий инстинкт взбрыкнул в нем?! Да, декрет-то оказался с изъясном, явно провокационный, несущий на деле очередную кабалу и бесправие. Тут Михаил не промахнулся.

Но дело совершенно в другом, еще раньше он возомнил себя каким-то чистюлей интеллигентом, этаким полубарином (как теперь говорят партийные агитаторы, – «классово чуждым трудовому крестьянству»), как видно начитался дрянных книжонок, попался на удочку велеречивых рассуждений, подлю возвращающих в каждом сопляке чувство собственной значимости и исключительности. И вот приписал себя к господам, естественно, как же может человек с институтским дипломом числиться в мужиках?! Стыдно натягивать смазной сапог, нам подавай лакированный интеллигентский штаблет? А он оказался не того размера, видно для лакейской ноги, стер ступни начисто.... Так, что не вышел из тебя, Михаил Петрович, умница-интеллигент, а вышло черте что, какое-то ненужное недоразумение, по словам тех же комитетчиков «вне классов и социальных групп», одним словом деклассированный элемент, а короче, – бандит с большой дороги.

Да, Мишенька, – подумал он, – осталось разбитое корыто. Теперь дураку ясно, – жизнь не задалась, не получилось, ну и что? Я уже не хочу быть чем-то особенным, уже не стремлюсь играть навязанную неведомой силой роль. Жизнь сполна отмерила мою долю, пусть и паскудную, пусть и поганую. Увы, слов из песни не выкинуть.

Все так и не так! Только я, вот он – здоровый и сильный парень, моя судьбе еще в моих руках, и пока, как захочу, так и поверну ее. Ну, уж коли сызнова не начать, то круто повернуть всегда успею...

Облов с присвистом вздохнул густой, пахнувший сырым снегом и дымком воздух, придержал его малость в легких, чудок даже запьянел. Потом огрел жеребца плетью и галопом, напропалую ринулся вперед, по еле проглядываемой тропке, которая (он знал) за поворотом вольется в торный тракт – «большак», а уж там только давай – отщелкивай версты.

К вечеру он, не таясь, вышел из темного проулка пригородной слободы, оставив там, у знакомого мещанина, своего коня и поклажу. Облов налегке прогулочным шагом направился к городскому центру. Погода опять расслонявилась, местами снег начисто стаял, на дорогах воцарилась изрядно опостылевшая слякоть. Но все равно не покидало отрадное убеждение – осени, а, следовательно, и грязюке скоро придет окончательный каюк. Выйдя на Московскую, Михаил слился с разношерстной толпой, праздно снующей по прямой, как стрела, улице. Облову было интересно разглядывать горожан: все такие разные, у каждого свои кровные заботы, собственные помыслы. Но он, Облов, думалось – смог бы понять каждого из них. Не было для него роднее этих лиц – ни в Питере, ни в Вильне, ни в Галиции, одним словом – земляки.

Он свернул в один из переулков, обсаженных гигантскими тополями, шмыгнув за дверцу высокого, глухого забора, прошел вглубь двора и оказался у обветшавшего домика с цокольным этажом. Оглядевшись, он поднялся на цыпочки и два раза отрывисто стукнул в оконце второго этажа. Занавеска колыхнулась. Облов скоро взбежал на изляпанный грязью порожек, прильнул к перекошенной, разошедшейся двери. В прихожей послышалось шарканье тяжелых ног, звякнула дверная щеколда. Донесся глухой, словно из колодца, обессиленный голос:

– Щас, щас, обожди малость. Ох, куды же он запропастился окаянный? Беда с этим запором, прямо беда! – захрумкал, вставляемый в замочную скважину, ключ.

Но вот замок надломано щелкнул, дверь шатко дернулась, и видимо не желая впускать незнакомца застопорилась. Облов резко потянул ее на себя, открыв настежь, ступил за порог. В темной прихожей стоял запах керосина и давно лежалого тряпья – своеобразный «тарханский» запах.

– Михаил Петрович проходите, не стукнитесь, пожалуйста, туточки у меня сундучок поставлен – странно лебезил связник.

Михаил ступил вслед нерасторопному хозяину за едва приоткрытую им дверь горницы. Яркий свет фонаря свет полоснул в глаза. Облов машинально зажмурился, его губы дрогнули в улыбке: «Ишь ты, прямо паникадило включил?!»

И тут на него обрушилась грубая сила. Кто-то насел на плечи, кто-то ухватил за руки, за ноги... Облов почти не сопротивлялся, чего уж там сделаешь против четверых ломцов? Ему, придержав за плечи, завели локти за спину и связали руки. Михаил горестно выдохнул – попался. Перед ним стоял парень с белесыми бровями, обряженный в большую, явно с чужого плеча, кожаную куртку. В глубине комнаты, за спиной парня, вислоусый военный в длинной кавалерийской шинели выкладывал из портфеля на стол листы бумаги. Другой военный, поплоче, в пехотном ватнике, небрежно оттирал мешковатого хозяина в заднюю комнату. Тот поскуливал, как золотушный мальчонка, но ничего не произносил, лишь по-немому перебирал толстыми губами. «Продался сука!» – зло подумал Облов и перевел взгляд на парня в кожане. Тот в отместку елозил глазами по Михаилу, на его щеках гневно переваливались желваки, на шее, как у борца напряглись толстые жилы. Наконец парень злобно выговорил, точнее прокричал:

– Попался гад! Теперь не уйдешь, паскуда кулацкая! Теперь держись! Что смотришь, али не узнаешь? (Облов действительно не знал парня). Забыл контра! Не помнишь сука, так я напомню?! Да я тебе..., за Пашку гад получай! – и парень с размаха всадил свой кулак в челюсть Облова. Михаил чуть не оступился – силен был удар. Парень же, еще больше набычась, поводит торсом, вознамерясь продолжить экзекуцию. – А теперь, за Мировую революцию! – но не успел договорить.

Облов напряжись, напрягся в плечах, мигом резко развернулся и вдарил парня распрямленной ногой в грудь. Малый, нелепо взмахнув руками, отлетел к самому окну, ударился о стену и с грохотом повалился на пол, увлекая за собой книги и всякие безделушки с оторвавшейся полки. Завершила дело рухнувшая на него оконная гардина с занавесом. Парень нелепо барахтался в этом дерьме, к нему подскочил недомерок в ватнике, помог подняться. От стены отделились два доселе неприметных бугая, схватили в железные объятия Облова, того и гляди вывернут суставы. Поверженный парень поднялся на ноги, угрожающе выпрямился, его бычьи глаза налились кровью. Он весь затрясся, как контуженный, разбрызгивая слюну, истерично возопил:

Падла! Уйди ребята! Я его щас порешу! – и рванул из-за пояса отдававший синевой наган.

– Кузин! – внезапно подал голос пожилой усач, нервно сжав в кулаке листы бумаги. – Кузин, мать твою! Не смей, а ну отойди! – свободной рукой кавалерист дернул малого за шиворот кожанки, тот ошалело оглянулся, но руку с наганом, помедлив, опустил. Вислоусый уже тише, но вполне сурово отчеканил. – Ты, что Кузин под трибунал захотел? Я те мигом определю!

– А чего он, гад, ногами дерется? – возроптал парень, в его голосе сквозили слезы обиженного дитяти.

– Тебя мало ногами, тебя посадить за рукоприкладство. Или забыл, мы ведь не царские жандармы?! А ты выдержку потерял – тряпка! Уйди с глаз моих долой. Ступай в часть, пусть камеру готовят. И усач с силой толкнул Кузина в бок.

Облов признал в пожилом военном одного из козловских гепеушников. Это он тогда в Грязях чуть не сцапал Облова, ну, а теперь, вот все-таки достал.

Чекист подошел ближе, пристально взгляделся в глаза Михаила. Облов выдержал его взгляд, потом небрежно повернув голову, сплюнул на пол кровавистую слюну вместе с выбитым зубом. Гордо усмехнувшись, он высокомерно оглядел вислоусого военного. В свою очередь тот тоже ни сколько не смутился, лишь малость сузил веки и произнес:

– Вот мы и встретились с тобой Михаил Облов, – помолчав, тихо добавил, – не ожидал я, что так скоро все кончится.

– Это уж точно, – хмыкнул Облов, – лихо я влип!

– Иначе и быть не могло, мы тебя, субчика, больше месяца пасем... И как ты тогда в Грязях от облавы ушел? Впрочем, недалеко скрылся, – и, приблизившись к столу, принялся перебирать бумаги. Потом, не поворачиваясь, скомандовал. – Яценко, обыщи арестованного!

Коротконогий фуфаечник Яценко облапил Облова, Михаил презрительно наблюдал за старательным чоновцем. Тот пыхтел, но свое дело знал. На стол лег запотевший револьвер, тощий бумажник, горсть зеленоватых патронов, кисет, ладанка.

– Не густо? – вопрошающе очнулся чекист от своих мыслей. – Что, или больше ничего нет? А, Яценко тебя спрашиваю, хорошо искал?

– Да уж всего обшманал товарищ уполномоченный, боля ничего нету. Разве лишь в сапоге что хоронит, велите разуть?

– Ну, ладно, не надо Яценко, пустое... (Откуда было знать чекисту, что в голенище у Облова укромно вшит остро отточенный скальпель...)

– Комиссар, – Облов шмыгнул носом, – прикажи ребятам освободить руки, не бойся не сбегу, мне лишь бы харю обтереть...

– Развяжите его, – чекист смиловился.

Освобожденный от пут, Облов, размяв кисти рук, взялся оттирать запекшуюся кровь с губ.

– Яценко, подай задержанному стул.

Чоновец небрежно придвинул Михаилу гнутый венский стул, не преминув проворчать:

– Не перехрюнул бы, постоял бы, ишь ты – барин?!

– Яценко, помолчи! – одернул командир. Сел сам за стол, послунявил химический карандаш и, надписывая чистый лист, скороговоркой спросил у Облова. – Арестованный назовитесь: имя, отчество, фамилия?!

– Михаил Петрович Облов.

– Год рождения?

– Восемьсот восемьдесят второй.

– Социальное положение?

– Крестьянин. – Облов, не спеша, толково ответил на все заданные вопросы.

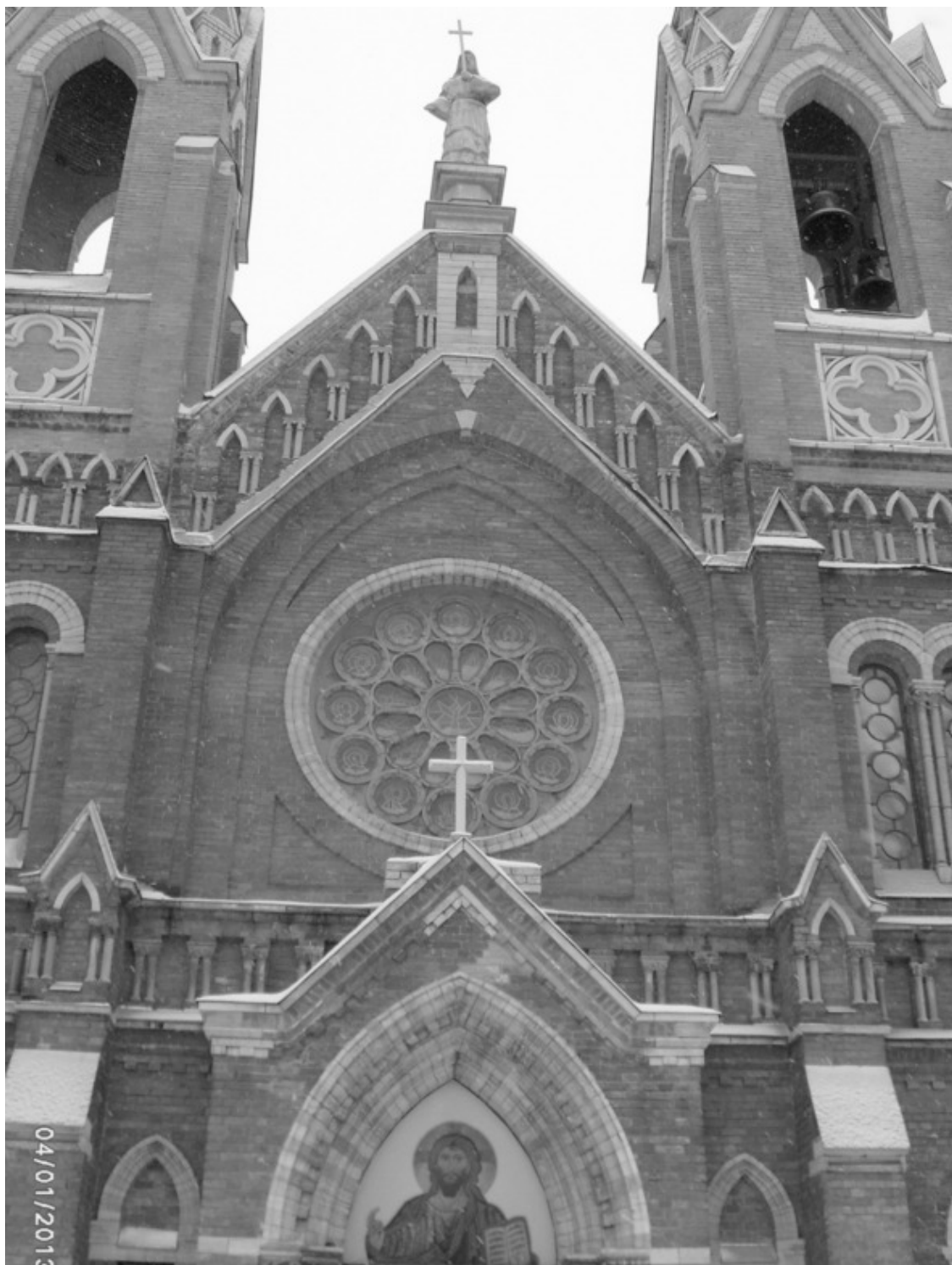
Закончив положенные формальности, вислоусый чекист аккуратно спрятал исписанные листы в добела истертый портфель, оценивающе взглянул на Облова:

– Ну что, теперь пойдём?

Подтянув голенища сапог, как можно равнодушной Михаил ответил:

– Пошли командир...

Уйдя из очереди (повесть)



«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто». (I Кор. 13.2.)

Легенда

Город у извилистой реки возник пять веков тому назад, по преданию его основал Александр Ягеллон – Великий князь Литвы.

Мало, что я знал тогда...

Вне сомнения, город, как и любое творение воли и духа людского, имеет час зачатия, когда было сказано: «Да будет...!»

Из заиндевших зарослей ольхи, выехало три всадника, обсыпанных с ног до головы снежным крошевом. Взмыленные кони, тяжело приседая, с трудом преодолели снежный завал, но вот под копытами зазвенела смерзшаяся земля. Ступив на пологий, редколесьем укрытый от ветра, речной откос, наездники закричали что, было мочи:

– Пане хорунжий, мы нашли доброе место для ночевки!

Вскоре подоспел отряд литовских воинов, под началом краснощекого удалыца в грубом кольчужном панцире, по спине и животу обшитом толстой свиной кожей. Посовещавшись с дружиной, он приказал совсем юному на вид молодцу скакать с докладом «до пана Радзивилла». Остальные ратники, спешившись, принялись прорубать в береговой ольхе широкий проход, их походные топоры весело звенели, желтые ветви ладно стелились на землю, словно снопы жита.

Часа два спустя, пустынный берег доселе дикой реки совершенно преобразился. В разных направлениях деловито сновали вестовые, скрипуче ползли разлапистые сани, запряженные волами, дымились бессчетные костры. И раздольно стлался сладкий запах варева, кислая животная вонь, тяжелый дух человеческого скопища. Трудно было выделить какую-то одну речь в этом разноязыком таборе. Где-то звенело польское дзеканье, там волжское оканье, густо сдабривалось московским аканьем, здесь чудной говор хохлов перемежала якающая литовская трель.

Внезапно взыграли фанфары. Разворошенный улей разом смолк. Взоры всех обратились на здоровяка в раззолоченной броне, цепко оседлавшего вороного скакуна – виленского воеводу Радзивилла. Ясновельможный пан повелевающим жестом, властно высвобождал дорогу. В свободной перспективе открылся высокий, отливающий лазурью шатер, на маковке которого трепетал вымпел государя Великой Литвы.

И вот, из недавно прорубленной просеки стала выкатывать пышная кавалькада. Впереди, гордо восседая на породистых жеребцах, лихо, оставив десницу с древком, скакали знаменосцы. Набухая и хлопая на продувном ветру, колыхалось одиннадцать знамен земель, объединенных Литвой, двенадцатое, самое громоздкое и тяжелое, было коронное.

Следом гарцевали вельможные паны в изысканных доспехах, пышные султаны из диковинных перьев на их шлемах делали витязей похожими на экзотических птиц – их нарядный блеск слепил глаза простолюдину.

Затем, припадая на рессорах, волочилась расшитая пурпуром крытая колымага. Ее лакированные борта украшали золоченые кресты, львы, мечи и иные геральдические атрибуты – все это должно свидетельствовать о великом звании седока.

Но вот шествие вымученно остановилось, повозка подрулила к лиловому шатру. Лишь на мгновение приоткрылась резная дверца, толпа придворных прихлынула, закрыв от посторонних взоров, как ловкие телохранители выхватили из недр кареты расслабленное тело и, не мешкая, занесли его в покои. Но над военным лагерем уже стоял невообразимый рев – войско приветствовало своего государя – Великого князя Литвы и короля Польши Александра.

Далее за полог королевской резиденции ступили вожди коронного войска. Первым вошел Великий гетман, за ним Великий писарь, потом Виленский воевода, после прошли гетманы и каштеляны земель и городов Литвы и Руси.

Лагерь зажил обычной походной жизнью. Но наблюдательный взор мог отметить, что на стан легла тень подозрительной обеспокоенности. Раскованное веселье и беспечность улетучились, ратники стали бережнее обращаться с оружием и упряжью, старались поменьше сновать и даже говорить.

Час спустя, дружинники, не сядя в седло, поспешно переместились вниз по течению, оставив на истоптанной пойме несколько шатров, да реющие на ветру стяги.

Между тем, в голубого шелка покое, у постели Великого князя, раненного татарской стрелой в грудь, вершил свои таинства лейб-медик Болеслав Збых, выученик швейцарского чудотворца Парацельса...

Но вот, пан Болеслав отер кисти розовых рук о расписной рушник, молчаливо протянутый одним из служек. Пригладив рассыпавшуюся шевелюру, лекарь обратил взор на загрустившего в углу пана Радзивилла. Всем было известно, что Виленский воевода личный друг короля и уж как не ему больше всех печалиться о недужном.

– Ну, как? – встрепенулся могучий воевода. – Что с государем?

– Я думаю, опасаться за жизнь короля более не стоит. Вскоре Александр оправится. Дня через два-три можно трогаться в Тракай.

– Господи, Иисусе Христе..., – зашептал по-русски молитву воевода. Закончив, встал во весь могучий рост, поклонился пану Болеславу и, неуклюже переваливаясь, на цыпочках покинул князя.

В другом, зеленом шатре настороженно ожидали Радзивилла. Оставаясь в неведении, подавляя стыд, старшины войска обсуждали персону возможного наследника престола – королевича Сигизмунда, полной противоположности своего сурового отца.

Если Александр, прежде всего литовец – неприхотливый, непреклонный воитель, то королевич Сигизмунд – чистейший поляк, весь пошел в родню матери. Что ему Вильно, что ему Тракайский озерный замок? Его стольный град Краков, его твердыня Вавель! Его святыня не Матерь Божия Аушрос, а Матка Боска Ченстаховска!?

Как-то будет литвинам при государе-поляке? Каково придется дворянам литовским – поперек польской шляхты? Ни для кого не секрет, что тогда центр государственной жизни переместится в Краков. Неужели родимый край – грай Миндовга и Гедемина обречен на захолустье? Не хотелось верить в такой поворот событий, а особо было жаль веры православной – порушат ее алчные паписты.

Стоило пану Радзивиллу раздвинуть тяжелый полог, несдержанный шепот мгновенно прервался. В глазах вельмож застыл немой вопрос: «Как?!»

– Великий князь будет жить! (Радзивилл намеренно поддел немногочисленных поляков) Не так-то просто свалить старого зубра!

Вздых облегчения и выклик вновь обретенных надежд пронесся по заполненному вельможами шатру:

– Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Матерь Божья благодарим тебя!

Пять минут спустя из становища, словно камни из пращи вылетели гонцы. Радостная весть должна как можно быстрее оказаться у Ласского (Канцлера Великого княжества Литовского), а уж он то знает, как ей распорядиться.

В полдень следующего дня еще слабого Александра вынесли на воздух. На исхудавшем лице князя застыла мучительная гримаса. Рана еще нещадно саднила, несмотря на мазь и припарки, изобретенные Парацельсом. Когда походную кровать поставили на землю, свежий ветерок пронырливо проник в орлиный нос Александра. Князя слегка опьянила зимняя свежесть.

Он пытался приподняться на лопатках, но тщетно. И тогда, слезящимися толи от отрады, толи он недуга глазами, он оглядел струящиеся в дымке окрестности.

За рекой гордо возвышались неприступные холмы, поросшие вековым ельником. Ледяная гладь реки, яркая зелень хвои, лазурь неба – какая благодать, как прекрасен мир! Боль потихоньку покинула плоть Великого князя. Он велел приподнять слабое тело. Слуги бережно подхватили старческую плоть, уложили на взбитые подушки. Князь зачарованно вглядывался в туманную даль, в глазах искрились слезы восхищения и радости.

Осторожной цепочкой приблизились воеводы, старший от лица войска приветствовал короля. Александр, взволнованно перебив изливания гетмана, вымолвил еще слабым голосом, указав сухим перстом на высокий заречный холм:

– Повелеваю.... Там крепость..., город заложить! – и в изнеможении упал на подушки. В его широко распахнутых, голубых глазах светилась вера, горело убеждение в том, что так и будет. И будет хорошо!

Эта событие могло произойти в весьма давние времена.... Да и было ли ему место на самом-то деле? Скорее всего, город возник при других, далеко не выясненных обстоятельствах, как часто случается – весьма прозаических, зачастую даже недостойных упоминания в хрониках.

Уже потом, кто-то «очень сведущий» соединил город с именем князя Александра. Картинные подробности довершила молва. Я вполне допускаю, что нога Великого князя не ступала в тех местах... Что и не мудрено – Литва простиралась от моря и до моря, и с какой стати государю огромной державы скитаться в лесных дебрях по реке Нявежис.

Все так и не так!? Не стоит лукаво мудрствовать. Коли гид рассказал, так поверим ему. Пусть рождение города неотделимо от имени Александра, славного потомка древних князей Гедмина и Витовта.

Мое же воображение лишь слегка восполнило расхожую легенду. Что плохого в моих неприятельных выдумках?

Свидетель – I

Мечтательный флер спал с глаз. У ног – под старым, ржавым мостом, где он остановился на мгновение, озорничал мутный поток. Странная река – летом ее течение гладко, даже царственно, но сейчас в конце ноября, среди затяжных дождей и зябкого пронизывающего ветра – она взмутилась бурлящими темными струями, словно ее равнинное дно устлано пузатыми валунами, останками когда-то прошедшего ледника. Среди пожухлой осоки, то там, то здесь, подступая совсем близко к вспененной воде, зеленели веселенькие островки, сохранившие сочную, густую травку. Они чем-то напоминали искусственные газоны большого города. Но тут, – какой садовник-невидимка ухаживает за ними? Кому до них дело? А они вот, и поздней осенью радуют глаз изумрудной прелестью, напоминая нам – не все ушло в небытие, далеко не все. Молодая поросль, она стремится ввысь, она расталкивает прелую листву, ей кажется, справься она с этой мертвечиной и ей навек обеспечено счастье и бессмертье.

Неужто она не знает, что под серым осенним небом возможно лишь эфемерное, призрачное счастье. Зеленая травка, как то молодое поколение двадцатилетних, мечтавших, вернуться домой с победой, но скошенных на корню в горниле былой войны.

Ударит мороз, день-другой юные побеги поникнут, почернеют. Так оно и будет. Но корни – здоровые, наполненные стремлением питать, двигать вверх молодые побеги – останутся, будут жить под землей, а значит весной, здесь опять прорастет веселая трава, везде кругом станет изумрудно-зелено.

На левом, высоком берегу реки цепко вскарабкались кварталы городка. Словно Мон-мартская башня над прокопченными стенами домов возвышается высотное здание гостиницы. Даже от реки видны большие неоновые буквы на ее челе – Visbutis. Выщербленными террасами к берегу сбегают жилые строения, крытые потерявшей цвет черепицей, отчетливо различимы прорези улиц, будто борозды морщин на лице изрядно пожившего человека.

Черными тенями выступают парки, скверы, сбросившие листву, они затушевывают, но вовсе не скрывают увядшую кожу строений.

Старый, замшелый городок, с грубыми швами пластических операций, хаотично возникших новостроек. Несомненно, эти чужеродные вкрапления портят благородный вид города. Но его мудрые зеницы, смотрящие сквозь «новомодные очки» остекленных кубов, располагают к себе, им доверяешь.

Влюбляются именно в эти задушевные глаза. Они неназойливо западают в сердце, вошедшему с ними в контакт, они зачаровывают. И уже не миновать новых и новых с ними свиданий.

Чем современной контуры новоиспеченных строений, чем экстравагантней выверты новой архитектуры, тем прекрасней и притягательней старый город. Он похож на милую всем сказку

Вокруг, сродни рисункам Ван-Гога, в такой же осенней хляби корячатся скользкие скелеты деревьев. Своими корявыми сучьями, похожими на кровожадные пальцы упыря, они норовят уколоть глаза, нависают над хрупкой человеческой фигуркой, намериваясь схватить и растерзать ее. Но увы, они бесплотны эти сучковатые стволы, они лишь поскрипывают от беспомощности, им только остается процеживать сквозь голый костяк промозглый ветер и студеный дождь.

Неотвратимо надвигается вечер, хотя еще светло, можно читать косо приклеенные на тумбах афиши, еще различимы вывески магазинов. Пока не включены уличные фонари и в редких окнах зажжен свет – но уже ночь на пороге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.